

ДВОЙНОЙ ДЕТЕКТИВ
ПО ФРЕЙДУ

Анна ДАШИЛОВА



ДОЖДЬ ТИГРОВЫХ ОРХИДЕЙ

◆
ГОСПОЖА КОФЕ

Двойной детектив по Фрейду

Анна Данилова

**Дождь тигровых орхидей.
Госпожа Кофе (сборник)**

«Автор»

2014

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Данилова А.

Дождь тигровых орхидей. Госпожа Кофе (сборник) /
А. Данилова — «Автор», 2014 — (Двойной детектив по Фрейду)

ISBN 978-5-699-75325-3

«Дождь тигровых орхидей» Мир молодой пианистки Маши Руфиновой всегда ограничивался родительским домом. Даже в училище ее возил телохранитель отца, внимательно следя за тем, чтобы девушка не общалась с сомнительными людьми и не попала под их дурное влияние. Но однажды Машу похитили прямо с концерта, на котором она выступала. Родители готовы обвинить в похищении каждого. И первым подозреваемым становится кавалер дочери – Михаил Хорн. Он был последним, кто видел Машеньку, говорил с ней и подарил букет тигровых орхидей... «Госпожа Кофе» Однажды Егор Красин, менеджер фирмы, счастливый муж и отец двоих детей, находит в собственной машине, стоящей в запертом гараже, два трупа – мужской и женский. Он напуган до крайности и не хочет заявлять в полицию, боясь подвергнуть стрессу семью. Обстоятельства приводят его в дом к Маргарите Орловой – известной художнице, чей муж – Марк – оказывается следователем прокуратуры. Он-то и берется за расследование дела, тем более что оба убитых – его знакомые, которых давно уже хватились друзья и родственники...

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-75325-3

© Данилова А., 2014

© Автор, 2014

Содержание

Дождь тигровых орхидей	7
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Анна Данилова
Дождь тигровых орхидей.
Госпожа Кофе (сборник)

© Дубчак А. В., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Дождь тигровых орхидей

Нельзя сказать, чтобы тем утром Дмитрий проснулся не в духе, вовсе нет. Квадрат его спальни был полностью залит июньским солнцем, а это означало, что впереди еще один день работы над пейзажем. Но щебетание Марты за дверью, плеск воды, звуки шагов – так ходит по веранде отец, когда курит свою первую за утро сигарету, – звон посуды из летней кухни, визг детей, доносящийся с пляжа, – все это как-то раздражало, отвлекало. Он долго лежал, не в силах подняться, и разглядывал узор на кружеве занавесок. Внезапно в дверь постучали. Митя вздрогнул. Это стучала, конечно же, она. «Марта совсем сошла с ума. Если ее не остановить, то отец все узнает. Что она придумала на этот раз? Ну, давай-давай, Марточка, открой дверь, скользни блестящей свежеумытой змейкой в спальню, нырни под одеяло, замри, прильнув своей шелковой головкой к моему горячему плечу, и укуси меня больно-больно, но не до смерти – мне еще многое надо успеть сделать в этой жизни». Но он обманывал себя, равно как и ее, и отца, всех. Марта волновала его. И если отец сейчас уйдет на пляж, она снова заберется к нему в постель и собьет простыни в большой солнечный ком, пропитанный запахом ее духов, мыла и кофе, который, служа верным предлогом для ее прихода, непременно разольется по тумбочке и зальет лежащую на ней пачку сигарет.

Марта Миллер родилась на двадцать лет позже отца Мити. Сыграв после театрального училища несколько заметных ролей в местном драмтеатре, она как-то летом на пикнике наступила на ржавый гвоздь и угодила в больницу с заражением крови, ей сделали операцию на пятке, после чего она и стала прихрамывать. Понимая, что теперь не сможет играть на сцене, Марта устроилась костюмершей в свой же театр – благо шить она умела, – где ее и увидел Сергей Петрович Дождев. Шел спектакль, он сидел в партере позади нее и все первое действие разглядывал ее красивый затылок и округлые плечи. В антракте он пригласил Марту в буфет, угостил пирожными с розовым кремом и лимонадом. Потом они покурили у нее в костюмерной и, выключив свет, познакомились поближе. Через неделю Дождев пришел домой, собрал чемодан и, сказав сыну, что переезжает к Марте и что Митя может смело занимать и его комнату – его мать сбежала из дома к скрипачу симфонического оркестра, – ушел. Дмитрий остался один в просторной трехкомнатной квартире, которую друзья называли мастерской. Все холодное время года Митя проводил там, практически не выходя из дома. Квартира была теплая, в ней было много диванчиков, кресел и просто удобных тихих уголков с подушками и пледами, куда можно было зарыться и уснуть.

– Я зимой не живу, а существую, – объяснял скучным голосом Митя свое сонливое состояние натурщицам, которые пестрыми бабочками вились вокруг него, требуя за трехчасовую неподвижность любви или хотя бы ласки.

В большинстве своем это были молоденькие балерины из хореографического училища – тоненькие, стройные, с гладко зачесанными волосами, свежими лицами, но порочными взглядами. С ними было легко, они все понимали и, порой разглядев на лице Мити выражение отрешенности, старались не надоедать ему своими визитами. Сложнее было с Мартой. Увидев Митю впервые на дне рождения Сергея Петровича, она весь вечер не спускала с него глаз. Очень сексуальная, одетая в зеленый креп изящная хромоножка пила одну рюмку за другой, не отрывая взгляда от молчаливого темноглазого пасынка. Она подкладывала ему салаты, а когда начались танцы, старалась быть поближе, чтобы прикоснуться к нему, почувствовать, убедиться, что он ей не пригрелся, что это нежное, но в то же время мужественное существо имеет плоть, что его свитер колюч, а волосы пахнут лимоном. Сергей Петрович радовался такому вниманию своей Марточки к Дмитрию и улыбался, меланхолично разглядывая прозрачное луковое кольцо на вилке.

– Я рад, Митя, что ты пришел.

Марта стала приходить в мастерскую, приносить котлеты, домашнюю икру и варенье. Она молча прибирала, мыла полы, чистила раковины от красок, заставляла Митю вовремя замачивать кисти, а иногда ходила для него в салон за белилами или охрой. Она двигалась по дому быстро и тихо, стараясь не быть навязчивой, и постепенно сделала так, что Митя сам уже хотел, чтобы она заглянула именно в ту комнату, где стоял мольберт. Он не мог при ней работать, сидел перед холстом, пока перед глазами не начинал идти цветной дождь, тогда он закрывал глаза и представлял себе Марту голой. Он видел ее театральные фотографии, и ему было жаль бедняжку. Быть может, тогда, накануне Женского мартовского дня, он просто пожалел ее? Шел дождь, Митя сидел с закрытыми глазами перед чистым холстом, а Марта жарила курицу на кухне. Он открыл глаза и вдруг увидел ее. Она стояла, прислонившись к дверному косяку и подогнув короткую ножку, по-зимнему белая, с розовато-перламутровым оттенком, хрупкая, плечи закутаны в русые кудри, а глаза ничего не видят, ничего.

– Подойди ко мне, – сказала она.

Он подошел и обнял.

– У тебя плечи холодные... и колени.

Когда она ушла, он нарисовал углем совокупающуюся пару. Марта не успокоила его. Хоть она была и умной, и чувственной. Он и хотел, чтобы она пришла еще раз, и боялся этого. А вечером того же дня заглянул отец. Принес немного денег и спросил, не приходила ли Марта.

– Приходила.

– Она не мешает тебе?

– Она приготовила курицу.

– Мама не звонила?

– Звонила. Она будет сопровождать Глеба в Австрию.

– Я соскучился по ней.

Сергей Петрович сидел в прихожей на потертом бархатном пуфе и качал головой. Плащ его совсем промок, со шляпы, которую он держал большими белыми руками, текло, бледное его лицо было озабочено: он вечно находился в поисках денег, поскольку хлеб настройщику приходится добывать, мотаясь по всему городу.

– Марта молчит, но я-то знаю, что она дуется на меня, – хочет купить три метра шифона, а денег нет. Хотел у Лизы занять, а она, ты говоришь, в Австрию уезжает.

Митя представил себе, как его мать протягивает отцу деньги на шифон для Марты. Эти странные, на его взгляд, отношения между ними всегда удивляли его. А его собственные отношения с Мартой разве не странны и удивительны?

Она не приходила весь март. Дмитрий за то время – благо ему не мешали – успел сделать пятьдесят рисунков углем. На всех были изображены двое: он и Марта. Они меняли позы, двигались как им заблагорассудится. Марта и он жили в них своей прозрачной черно-белой жизнью. У Марты постепенно изменялись прическа, линия носа и губ, потом в волосах появилось несколько оранжевых прядей, которые изо дня в день становились все более рыжими, она успела похудеть за месяц непрерывных занятий любовью. На последнем рисунке был уже только он, от женщины, которая страстно обнимала его все эти дождливые дни, остался лишь золотой ореол. *Он* поглотил ее. И вот тогда пришла Марта. Дмитрий не показал ей рисунки, он надежно спрятал их в папку и крепко завязал тесьмой.

– Надо бы повторить тушью, – задумчиво и отрешенно сказал он, увидев ее на пороге.

– Ты это о чем?

Она стояла перед ним в черном платье с фиолетовой косынкой на шее, волосы собраны на затылке, глаза – черное в лиловом – блестят, пахнет от нее молодой тополиной липкостью и мокрой травой.

– Ни о чем, – ответил он и понял вдруг, что наконец наступило долгожданное тепло. – Вы на дачу?

Он почувствовал себя маленьким мальчиком, которому наскучили школьные занятия и зимняя сука, и он ждет, что его возьмут с собой на дачу.

– На дачу. – Марта обняла его и коснулась своими прохладными губами его лица.

Дачный поселок довольно долго томился без зелени, все готовился, очищался, дымился прошлогодними листьями, и к началу мая словно чья-то невидимая рука густо вымазала низ древесных стволов белым. Вслед зазеленели ветки, закипела бело-розовая пена в садах, зажужжали черно-желтые бархатные пчелы.

Отец упорно продолжал топить камин, часто кипятил чайник и беспрестанно пил чай с молодой мятой. Марта слушала музыку по приемнику, мыла окна, строчила на старой зингеровской машинке желтые шторы на окна, перекрашивала рамы на веранде и двери в голубовато-белый цвет. Митя от этих весенних приготовлений просто пьянел, ходил на речку, подолгу смотрел на противоположный берег и хотел все увиденное вместе с запахами, блеском синей холодной речной воды, пухлыми облаками, холмами, покрытыми зелено-желтой шерстью и вишнево-яблоневыми цветами, увезти к себе на Семиреченскую, в мастерскую, чтобы весь будущий год дышать этой весной, этой целительной сыростью и сладостью.

Красок было мало, денег тоже. Это угнетало и заставляло время от времени звонить в город матери, но длинные гудки в трубке убивали последнюю надежду.

Взвалив на спину этюдник, Митя уходил далеко от поселка, располагался на возвышенности и писал. Он во время таинства, которое простые люди зовут работой, не ощущал ни голода, ни начинающегося дождя, ни солнцепека. Ему казалось, что он впитывает в себя все – все краски, которые заключает в себе молочно-дымный туман, окутывающий сосны и берега, золотой горячий луч солнца, пронизывающий воду до самого дна, рыжий плес и даже стаю диких гусей.

Однажды там его нашла Марта. Она принесла ему поесть, и он ослабел, снова превратившись в нормального человека, который любит и утреннее молоко, которое Марта покупала в соседней деревне Кукушкино, и оладьи, и зеленый лук с ржаным хлебом. Он насытился и некоторое время лежал на траве, глядя в небо. Уснул, а проснулся от жгучего наслаждения, он был не мужчиной в то мгновение, а больше – рабовладельцем, и женщина услаждала его так неистово, с такой страстью и рвением, словно, не делай она этого, он прикажет убить ее. Так можно любить, только когда нависает смерть. И он испугался, вскочил с земли разгоряченный, стыдливо прикрываясь руками, а Марта, подняв голову со спутанными волосами, темно-красными щеками и пьяным взглядом лиловых глаз, вдруг расплакалась. День был испорчен. Пейзаж – смазан. Она ушла, быстро удаляясь по тропинке и унося, как сосуд с драгоценной влагой, свою нерастратченную, болезненную и страшную любовь.

И сразу же вдруг сделалось темно, крупные, с вишню, капли упали на свежие краски на холсте. Митя едва успел собраться и пробежать несколько шагов, как с неба хлынула дождевая река, теплая и мощная. Прогредел гром, потом еще и еще. Митя забежал под крону старого дуба, весь вымокший, потерявший дар речи от всего, что произошло с ним в последние четверть часа. Через какое-то время он пришел в себя и увидел синий густой дождь – шумный водопад, сквозь прозрачную сеть которого просматривался сиренево-зеленый луг, на нем три белые козочки и старуха в черном капюшоне, сидящая на табурете и делающая вид, что не замечает дождя. Неожиданно под дуб забежала девушка в натянутой на голову кофте и двое маленьких детей в грязно-белых штанишках и рубашках. Мальчику было года три, девочке и того меньше. Девушка повернула к Мите свое лицо, стащила с головы кофту и трянула не успевшими промокнуть густыми рыжими волосами. На фоне мокрой листвы, в этой зеленой влажной тени дуба белое лицо ее с большими темными глазами и полуоткрытым темно-крас-

ным ртом было похоже на иконописный лик. Девушка была в желтом сарафане, сквозь вязаную кофту просвечивало нежное белое тело. Дождь как-то неожиданно прекратился, девушка подхватила на руки девочку, взяла за ладошку мальчика и, улыбнувшись Мите и пробормотав: «Нам пора», выбежала из укрытия и растворилась в мокрой зелени ивовых зарослей. Митя вышел на луг, огляделся: ни девушки, ни детей. Может, их и не было? А может, они спустились с небес? Как странно. А как же крохотная коричневая родинка над верхней губой незнакомки? Неужели тоже померещилось?

Выглянуло солнце, Митя побрел к дачному поселку.

Отец ушел на пляж, и Марта принесла Мите чашку кофе. Села рядом на постели, такая милая, теплая, родная, как мать, и погладила его по голове.

– Ты опять пойдешь сегодня?

– Пойду. Погода-то какая, Марта, ты только посмотри!

Он потянулся, она провела рукой по его груди и ниже, вздохнула. Они посмотрели друг на друга, и Митя в ответ на зовущий взгляд, не в силах совладать со своей неуправляемой мужской силой, опрокинул Марту, распахнул тоненький розовый халатик и, как щенок, истосковавшийся по теплоте животу своей матери, стал тереться о нее, постанывая, и, как в намагниченном туннеле, сначала взвился над ней, а потом, рыча и покусывая ее плечи и шею, задвигался, то приближаясь, то отдаляясь от цели, ввинчиваясь в еще не до конца изведанный им мир, состоящий из великого множества складочек, лепестков, цветов, сока, волос и возбуждающих его звуков. Так продолжалось до тех пор, пока он не почувствовал, что сейчас умрет, что дальше двигаться некуда, что это тупик, дальше которого он, утомленный, не проникнет, что он может только расплакаться и оросить слезами лоно женщины, которая заменила ему мать. От этой мысли он вздрогнул, как если бы она была материальной, и, тяжело дыша, откинулся на подушку. Женщина не шевелилась. «Уж не убил ли я ее?» Он резко поднялся, но, увидев, что Марта дышит, впервые снизошел до ласки: он нежно провел ладонью по ее плечу и коснулся губами ее губ.

Потом пришел отец, сели завтракать. Марта выглядела утомленной. А когда Митя вечером вернулся с этюдов, она подошла к нему в саду и сказала, глядя мимо его глаз, в пространство:

– Ты бесчувственный. Я тебя ненавижу. – И вечерней электричкой уехала в город.

Миша Хорн, сын известного в городе, а теперь уехавшего в Израиль дантиста, Исаака Хорна, занимался недвижимостью. У него была контора в центре города, большая квартира, белый «Форд», загородный дом и прочие необходимые для человека, занимающего такое положение в обществе, атрибуты внешнего благосостояния, которые, однако, не приносили ему счастья. Он влюбился в Машеньку Руфинову, дочку управляющего банком «Дрофа», услугами которого пользовался и по этой причине был принят в круг знакомых Бориса Львовича Руфинова. Но их общение ограничивалось встречами в банке, на презентациях и прочих светско-деловых сборищах. С Машенькой же он получил возможность побеседовать лишь на открытии «Русского ресторана». Руфинов привез туда дочь, чтобы это оранжерейное, лишенное общения со сверстниками дитя могло воочию убедиться в том, что вечер, проведенный в обществе умной и душевной Анны, куда полезнее и безопаснее, чем эта деловая пьянка. Но Маша уже настроилась и объявила родителям, что, если они ее и на этот раз не возьмут с собой, она сбежит через окно, пусть ей придется ради этого даже рискнуть своей жизнью.

Она оканчивала музыкальное училище по классу фортепиано и всякий раз испытывала чувство неловкости оттого, что на занятия ее привозит телохранитель отца Матвей и в условленное время забирает. У Маши не было возможности даже зайти с однокурсницами в кафе, чтобы спокойно выпить чашку кофе и съесть пирожное, – всюду ее находил Матвей и только

одним бесстрастным профессиональным взглядом телохранителя, словно магнитом, вытягивал ее из кафе или магазина.

– Ты скажи, и я куплю тебе хоть сотню пирожных, – говорил он, увозя Машу на черном «Мерседесе» домой.

Она сжимала маленькие кулачки, вся напрягалась и едва сдерживала себя, чтобы не заплакать. За окнами мелькали весенние улицы, заполненные цветной массой улыбающихся и радующихся весне людей, проплывали распустившиеся по-детски молочно-нежной листвой каштаны и тополя.

Дома Машу уже ждала мама. Ольга Владимировна, в прошлом физик, ныне дама, известная в городе своей благотворительностью и кое-какими политическими начинаниями, смирилась с тем, что ее муж не собирается уезжать из страны – хотя десять лет назад у них были визы и билеты в Германию, – но с условием, что он не будет вмешиваться в воспитание дочери, а гарантирует финансовую поддержку и хотя бы видимое понимание.

– Я создам государство в государстве, – объявила Ольга и сформулировала Руфинову философскую концепцию своей цели: – Я хочу оградить Машу от всего того, что окружает ее сверстников в это ужасное время. Эта плесень не должна касаться ее. Школа и дом – вот и все, что ей нужно, чтобы она нормально развивалась, пока не сформируется как личность. Пусть это будет немного походить на тюрьму, но это все же лучше, чем потерять дочь. Я не хочу, чтобы она целовалась с каким-нибудь прыщавым недоумком, играющим на фаготе или трубе, – имелись в виду однокурсники в музыкальном училище, – пусть подрастет, а там видно будет.

Но Маша уже выросла, ей уже исполнилось двадцать лет, и Руфинов, не выдержав, вмешался в ход событий.

– Она имеет право видеть мир, в котором живет. Это дома ты устроила рай для нее, а если с нами что-нибудь случится – не дай бог, конечно, – как она будет жить, ты подумала?

Напудренный нос Ольги порозовел, землянично-влажные губы задрожали, она поняла, что муж в какой-то степени прав, но время-то было уже упущено. И вот тогда начались для Машеньки волшебные, полные тайн и разнообразных впечатлений выходы в свет, которые мать называла выходами во тьму. Мир презентаций и приемов, участие в благотворительных акциях, где Маше было позволено разносить по столикам гороховый суп и кашу с котлетами для одиноких стариков и старух, – все это внесло в Машино представление о взрослой жизни элемент значимости и серьезности. Но все же этого ей было мало, хотелось свободы в перемещениях, во встречах, в знакомствах. Но тут началась весна, Маша неожиданно подхватила воспаление легких. Ее лечили в хорошей клинике, которая, однако, своей стерильностью и обилием лекарств и уколов лишь усугубила болезненно-угнетенное состояние Маши, хотя заболевания как такового уже и не было. И тогда ее повезли на дачу, в Кукушкино. Там было много солнца, зелени, свежего воздуха и птиц. Там возродился румянец, улучшился аппетит, Маша могла целыми днями нежиться на солнце – плетеное кресло выставлялось на крыльцо, – пить парное молоко, дышать ароматом розовых и желтых цветов, которые нежным ковром растлались у нее под ногами. Анна, родственница отца, которая уже несколько лет жила у Руфиновых и занималась воспитанием Маши, сопровождала ее на прогулках по лесу и лугам. Анна была начитанной и умной женщиной, но почему-то раздражала Машу. Уж слишком любила она порядок, слишком часто мылась в душе, слишком чистыми и белыми были ее блузки, слишком туго были затянуты в хвост ее черные блестящие волосы, слишком хорошо поставленным был ее слегка гортанный и сухой голос – все слишком. Она вставала по будильнику, все делала по расписанию, постоянно ровным голосом одергивала непоседливую и увлекающуюся Машу, заставляя заниматься. Анна присутствовала всюду, начиная с гимнастики и душа – чем особенно раздражала стыдливую Машу – и кончая упражнениями на фортепиано. Она навязывала ей свои вкусы в литературе, принося неизвестно откуда – но скорее всего из дома, ведь не может же такая женщина, как Анна, жить без собственного дома – книги по филосо-

фии, истории искусств и литературе почему-то в большинстве своем немецких авторов. Маша усваивала все быстро, какой-то сложный механизм работал в ее рыжеволосой голове, и блоки густого типографского текста просто проглатывались девушкой, но до сердца доходили лишь старинные романсы о любви, о рыцарях Грааля, о чудовищах и прекрасных воительницах, о Тристане и Изольде, Квентине Дорварде и Айвенго. Потрепанный сиреневатый томик Шарля Нодье, которым зачитывалась Маша, Анна спрятала в шкаф под аккуратно сложенные наволочки и полотенца, но Маша нашла его и обиделась. А вечером, когда они вдвоем после ужина пили чай на веранде, она достала книгу и, преспокойно шелестя страницами, демонстративно вздохнула, как если бы ее занимала особенно прятная деталь текста.

– Непотребное чтиво, Маша, – сказала Анна и выпрямила и без того прямую, как строительный отвес, тонкую спину, потянулась всем своим стройным телом в полосатом черно-красном халате и повторила фразу, делая ударение на первом слове.

– А для меня потребное, очень даже потребное. – Маша бухнула в чашку сразу несколько кусков сахара и утопила на дне бокала две крупные клубники. – Вы бы шли спать, Анна Владимировна, уже поздно.

Когда вечер в «Русском ресторане» подходил к концу, когда сытые и пьяненькие гости пили поднесенное им на расписных подносах девушками в русских народных сарафанах кофе с конфетами и ели фрукты, вот тогда Хорн осмелел и, зная о том, что Руфинов запрещает дочери с кем-либо разговаривать, а тем более танцевать, подошел к их столику и, обращаясь к Борису Львовичу, произнес собранную им тщательно, словно миниатюрная мозаика, фразу:

– Вы позволите пригласить вашу дочь потанцевать?

Миша, весь вечер внимательно наблюдавший за Руфиновым, дождался-таки момента, когда Борис Львович, первые два часа напряженный от показного гостеприимства – гости знали, что именно Руфинов является негласным хозяином ресторана, – наконец расслабился, выпил шампанского с женой, тоже, кстати, уставшей за вечер, и все внимание обратил на откровенно скущую дочь. Маша действительно сначала пыталась рассмотреть проходящих людей, но постепенно вся эта разряженная колышущаяся масса расселась за столы, начали взлетать вверх пробки от шампанского, запахло салатами и горячим мясом, зазвучал плохого качества джаз, погасили лампы, и малиновый свет прожекторов начал выхватывать из толпы танцующих парочки – вот тогда и стало нестерпимо скучно.

– Ну, что я тебе говорила? – спросила Ольга, промокая салфеткой выступивший на лбу пот.

Еще недавно такая свежая, энергичная, соблазнительная в сине-голубом шифоновом платье, Ольга, опустившись на стул рядом с Машей, теперь походила на помятый цветок ириса. От нее даже пахло ирисом. Маша не успела ответить – подошел Хорн. Руфинов, прожевав маринованный гриб, улыбнулся:

– А, Миша, присаживайся! Как тебе все это? – Он повел рукой в клубящемся от табачного дыма пространстве. – Как ресторан?

Миша онемел. До него вдруг дошло, что он осмелился подойти к самому Руфинову, и он неловко замер в растерянности, пока наконец не нашелся что ответить:

– Ресторан богатый, что и говорить.

Между тем Руфинов, подцепив вилкой следующий коричнево-черный блестящий гриб, снова улыбнулся Хорну, как старому знакомому, и выразительно кивнул в знак согласия. Затрепетали шифоновые оборки на платье Ольги, она вдруг встала из-за столика и направилась к спешащей к ней женщине в черном платье.

– Маша, потанцуй с Мишей. Как Исаак Самуилович, пишет?

У Хорна отлегло:

– Пишет.

Маша между тем, неслышно икнув, одернула маленькое красное платье, повела плечами, словно расправляя их специально для Хорна, и, позволив ему взять в прохладную и сухую руку свою горячую ладонь, послушно пошла за ним. Чувствуя под рукой теплый шелк платья на ее спине, пушистое касание ее золотых в малиновых бликах волос на своей щеке, Хорн осознавал, что то, что сейчас с ним происходит, как оказалось, не имеет ничего общего с тем платоническим обожанием, которое он сам себе придумал. Он испытал сильное и жгучее наслаждение сладострастника, выплескивающего свой терпкий яд в ранку еще ничего не почувствовавшей жертвы.

Если бы некий проницательный и очень внимательный человек, наблюдавший за ним еще час назад, спросил его: «Миша, что ты от нее хочешь?» – он бы даже не знал, что ответить.

Ему хотелось ее иметь, но не в том смысле, в каком хочет иметь мужчина женщину, а иметь вообще, насовсем, на всю жизнь. «Мне достаточно просто видеть ее, но постоянно. Я хочу смотреть, как она ест, как ходит в домашней одежде по квартире, как намазывает масло на хлеб, как играет с кошкой или щенком, как нюхает цветы, как хмурит лоб, читая книгу, как смеется над Ришаром, как моет свои длинные ослепительные оранжевые волосы, как стоит голенькая в ванне и намыливает розовым мылом свое нежное тело». Ему хотелось быть невидимым, чтобы иметь возможность забраться к ней в спальню, сесть на краешек ее постели и подсмотреть ее чистые, полные тайн и вопросов сны.

Что бы сказал, интересно, отец, если бы Миша признался ему в своих чувствах к Маше? Он бы посоветовал украсть ее и привезти в Тель-Авив. «Мы прокормим эту девочку». Да, отец говорил именно так, когда Миша собрался жениться на Гере. Они прожили чуть больше месяца, и Миша ушел от нее. Гера – очень красивая брюнетка с белой кожей и сине-зелеными глазами. Как-то раз Мише позвонили в офис и сказали, что она встречается с художником Дождевым в его мастерской. Он, бросив все дела, поехал по адресу и столкнулся с Герой на лестнице у квартиры художника.

– Что ты здесь делаешь?

– Была у знакомого художника, а что?

Он оттолкнул ее – неслыханное дело! – и позвонил в названную ему по телефону квартиру. Гера тем временем стремительно спускалась вниз, дробь ее каблучков больно отзывалась у Миши в голове.

Дверь открыл голый молодой мужчина и со словами: «Гера, детка, ты что-то забы...» – онемел. С мокрой головой и полотенцем в руках, он впустил в квартиру Хорна. Квартира была огромная, захламленная, в ней пахло дымом сигарет, водкой, потом, мылом – словом, всем, чем угодно, только не красками, как пахнет обычно в мастерских. В дальней комнате, на широкой постели, он нашел еще одного голого парня, который, увидев в дверях взбешенного побелевшего Хорна, даже не пошевелился для того, чтобы прикрыть свою отвратительную наготу. Не надо было обладать буйной фантазией, чтобы представить, как эти двое забавлялись с Герой. Картина, возникшая в воображении Миши, представляла собой фрагмент яростного процесса совокупления двух поросших обезьяньей шерстью молодых мужчин с очень белой, словно присыпанной пудрой, черноволосой женщиной, извивающейся в угоду их неутомимой плоти, скользкой в горячих устьях, подаренных им Герой. Хорн даже слышал сухие, шершавые звуки, сопровождающиеся неестественно учащенным тройным, почти в унисон, дыханием на фоне маслянисто-механических вакуумных ударов. Далее чья-то услужливая невидимая рука воображения повела его в ванную комнату, где эти трое мылись, похочатывая над резвостью Геры, пускающей пузыри припухшими, потемневшими, искусанными губами; четыре мохнатые руки скользили по ее гибкому, в мыльной пене, хрупкому телу, которое, не успев остыть от зуда желания, вновь было готово продолжить изнуряющие и сложные игры проникновения в ее женскую, животную – в этом Хорн уже не сомневался – сердцевину. Потом они ее, наверно, одевали, как беспомощную, уставшую от забав девочку, заполняя ее ослабевшими

тонкими ногами прозрачное пространство чулок, застегивая на ней крючочки, пуговички, шлепая туго натянутыми резинками по ее талии и расправляя на ней мягкие складки шерстяного костюма, а затем выпроводили ее наконец на лестницу, прямо в зубы озверевшему Хорну.

Миша хотел спросить, кто же из них Дождев, но подумал, что теперь это уже не имеет никакого значения. Первым его желанием, после того как он оставил эту страшную, пропитанную дурными запахами квартиру, было убить Геру. Но уже к вечеру это прошло. Он убрал в чемоданы ее вещи и отвез их к ней на квартиру, ничего не объяснив и даже не посмотрев ей в глаза. А пустоту и горечь, облаченные в неприязнь к женщинам в целом, Хорн растворил в работе, постепенно вытравляя Геру из своей жизни. Но самое удивительное заключалось в том, что после происшедшего Хорн, словно влекомый ароматом синтетического мазохизма, стал ходить на все художественные выставки, чтобы увидеть картины Дождева. Мазохизм в том же смысле, что и боль, которую, как любой нормальный человек, должен был чувствовать любовник Мишиной жены, заключивший Геру в деревянную рамку портрета – а Миша был уверен, что Дождев запечатлел его жену именно в момент захлебывающейся страсти, – должна была принести какое-то успокоение. Это было сложное чувство, замешенное на неуверенности в себе, в котором не так уж и просто себе признаться, и, конечно, на ревности в ее чистом виде. Тем более что услужливая память подсказала ему, что, кажется, кто-то из его окружения уже говорил ему в свое время, а он просто в силу занятости не обратил на это внимания, что Дождев – талантливый художник, больше того – его картины очень ценятся и стоят немалых денег. Однако, гуляя по выставочным залам музеев и выискивая взглядом на картинах прежде всего подпись автора, фамилию Дождева Хорн так и не встретил. Дождев не выставлялся, а это означало: либо Хорн что-то спутал, либо художник зелен, неопытен, а может, и вовсе бездарен.

Танец закончился, Маша, чтобы как-то заполнить тишину, вдруг неожиданно для себя сказала:

– Завтра у меня в училище концерт, в пять. Я буду играть Шопена, мне нужно, чтобы в зале присутствовал кто-то не из своих, вы меня понимаете? Придете?

Хорн притянул ее ладошку-лапку к своим губам и торжественно пообещал прийти. Маша позволила ему поцеловать ее руку, после чего Миша вернул девушку родителям. Когда он, попрощавшись с ней благодарным взглядом, отошел от столика, Маша сказала матери:

– Я пригласила Мишу завтра на концерт.

Руфинов, услышав это, пожал плечами:

– Он хороший парень, толковый. С ним я бы мог отпускать тебя хоть куда, если он тебе, конечно, нравится.

Ольга, внимательно выслушав мужа, хмыкнула:

– Но ведь он же скоро уедет вслед за отцом. Вот увидишь.

– Мама, ну не замуж ведь я собралась, что ж ты меня пасешь, как козу?!

Мама приехала неожиданно. Она всегда появлялась неожиданно и вносила в их размеренный ритм жизни некую праздную суету, беспорядок, который радует, но в то же время настораживает: что она выкинет на этот раз? То, что она могла свободно появиться где угодно, даже в квартире Марты, уже не удивляло. Удивительны были темы ее разговоров, ее идеи, планы. Лиза Дождева, в девичестве Лайфер, никогда и нигде не работала. Она считала, что ее предназначение – быть рядом с мужчиной, который, разумеется, должен ее содержать. С ней никто не спорил, поскольку это была бы пустая трата времени и нервов. Профессиональная бездельница, она действительно была создана для того, чтобы *сопровождать мужчину*. До замужества она «сопровождала» многих талантливых людей города: главного архитектора, писателя Страшнова, композитора Орехова и других. Они водили ее в рестораны, на вечеринки, в театр, консерваторию и другие людные места, где Лиза могла показать себя, свое оче-

редное вечернее платье и своего очередного мужчину. Почему она вышла замуж за Дождева, никто не знал. Даже сам Дождев. Просто встретились в филармонии, познакомились, оказались вместе на банкете в честь какой-то знаменитости, а потом Дождев сделал ей предложение. И, к обоюдной радости, оказалось, что Лиза – превосходная жена, заботливая, нежная и очень чувствительная. Неумная натура, она постоянно придумывала какие-то домашние праздники, на которые приглашала своих бывших любовников – Дождев подозревал, что и настоящих, – подруг, просто интересных людей, и была очень похожа в этом на героиню чеховской «Попрыгуньи».

Когда Дождев понял, что никакой скрипач из него не получится и что настраивать инструменты – единственный приемлемый для него способ зарабатывать на жизнь, он очень боялся, что Лиза бросит его. Но этого не произошло. Общительная и очень энергичная, Лиза стала находить ему клиентуру, причем в таких количествах, что бедный Сергей Петрович иногда приходил домой затемно. Зато в доме всегда были деньги, а это вселяло в молодого мужчину чувство уверенности. Когда родился Митя, Лиза, не желая изменять своим привычкам, быстро нашла ему недорогую няню, и все проблемы, связанные с маленьким ребенком, были враз решены. Она не обращала внимания на явное осуждение ее поступка подругами, пытаясь внушить им при случае, что многие семьи распадаются как раз по причине бытовой неустроенности и невнимательного отношения жены к мужу.

– Маленькие дети все равно ничего не понимают. Они, как щенки, пьют молоко и знают себе спят и растут. А вот когда подрастут, то по-настоящему оценят, как их все любили, любят и будут любить до самой смерти, ведь климат в семье – это самое главное.

Когда Лиза поняла, что Митя вырос и самое его большое желание – рисовать, она категорически сказала:

– Нет! Мужчина должен зарабатывать не кистью, а мозгами и талантом.

– Лиза, а что, если он талантлив?

– Художник – это ремесленник, а я не хочу, чтобы мой сын занимался этим грязным ремеслом. Это же тонны краски, угля, бумаги, растворителей разных, это вонь и вообще бесперспективно!

Она прятала от маленького Мити краски, бумагу и выдавала ровно столько, сколько требовалось для занятий рисованием в школе. Но Митя начинал рисовать зубной пастой по стеклу, мелом на дверях, на полу. Казалось, он делал это инстинктивно.

Однажды, под Новый год, когда Мите было уже тринадцать лет, в дверь позвонили. Все были дома. Сергей Петрович пошел открывать. Вернулся он с огромной деревянной коробкой с металлическими трубками, поставил тяжесть на пол и пожал в растерянности плечами.

– Что это? – задыхаясь, проговорила Лиза, и ноздри ее маленького розового носика стали раздуваться, а из горла вырвалось нечто похожее на сдавленный вскрик. – Это ты? Скажи, это ты, Дождев, принес? – Она ткнула Сергея Петровича пальцем в грудь и приблизила к нему свое пылающее ненавистью лицо.

– Я открыл, там это стояло.

Он всегда оправдывался и имел при этом жалкий вид. Но Митя, который в подобных обстоятельствах всегда защищал отца одним взглядом, сообщавшим, что он на его стороне, что они союзники, на этот раз схватил подарок и от счастья не мог вымолвить ни слова. Он-то знал, что это такое, что это *этюдник*, настоящий, большой, новый и прекрасный. От него сладко пахло деревом и лаком, сразу же захотелось куда-нибудь с ним уйти, где красиво, светло, и тотчас отразить все это на бумаге, холсте, на чем угодно. Ему, в его жизни, полной фантазий и нерастроченной энергии, так не хватало этюдника, что только спустя несколько дней он догадался, кто же ему принес это чудо, он подошел к отцу и обнял его.

Зато после этого в семье начались скандалы. Беспочвенные, тяжелые, со слезами и надрывом. Лиза ходила по дому в халате, придиралась ко всему, много спала, смотрела все подряд

по телевизору, перестала приглашать гостей и ни к кому не ходила сама. Что-то с ней случилось. Она ушла из супружеской спальни и устроила себе спальное место – иначе не назовешь – в большой комнате на кожаном диване, оставшемся ей в наследство от отца вместе с квартирой и прочей мебелью. Теперь она мыла голову один раз в неделю – хотя раньше мыла каждый день и убеждала всех при этом, что от этого волосы растут быстрее, – отчего ее густые светлые волосы приобрели тусклый оттенок, она безжалостно затягивала их в тугой узел на затылке, словно всем своим видом хотела сказать: «Знаете, а мне все равно».

Она, опять же беспричинно, рассорилась со многими своими подругами, скорее всего из желания не видеть рядом с собой злорадствующих свидетельниц своей длительной депрессии, причину которой знала она одна и ни с кем не желала этим делиться. Она, неглупая, в сущности, женщина, прекрасно понимала, что все то время, когда ей было хорошо и покойно на душе, воспринималось подругами не иначе как вызов женщины, живущей не по общепринятым правилам. Да, она не давилась в городском транспорте, чтобы добраться до обязательной в нашем государстве работы и, отработав восемь часов, за которые успеешь поскандальить с начальством, выслушать и проглотить едкий ком оскорблений от сотрудников – в особенности от сотрудниц, – потом возвращаться в переполненном автобусе или трамвае под прицелом чужого локтя. Поэтому теперь *их* очередь. Словом, Лиза находила бесконечные причины и предлоги, пока приятельницы не оставили ее в покое совсем, и погрузилась в такую глубокую смурь, из которой ее могло вытянуть лишь нечто из ряда вон выходящее. И таким «из ряда вон» явилось письмо, голубой конверт с разноцветными марками, который она в присутствии сына – мужа дома не было – распечатала и прочитала. Митя заметил, как стало меняться выражение ее лица, она даже порозовела, уселась поудобнее на диван и перечитала письмо еще несколько раз, издавая тихие радостные стоны. Глаза ее повлажнели, и Митя, от которого она не могла скрыть своей радости, понял, что произошло что-то очень важное, и смутно почувствовал надвигающиеся перемены. С того дня Лиза стала непредсказуемой. Первое, что она сделала, это пошла этим же вечером в парикмахерскую и привела в порядок волосы. Старый заношенный халат, который Сергей Петрович в шутку называл «обломовским», она выбросила в мусоропровод, туда же улетели рваные чулки, стоптанные домашние тапки, два ситцевых фартука и зеленая, как мертвый детеныш крокодила, мочалка, а также прозрачные, как застывшие вытянутые мыльные пузыри, бутылки из-под кока-колы и минеральной воды – словом, все то, что копилось эти два года и ждало этого символического полета, означавшего начало новой эры в их семейной жизни. Лиза сожгла все старые книги, журналы, газеты, побелила потолки, пригласила мастеров, которые оклеили обоями все стены, купила рыжий, под паркет, линолеум и как ни в чем не бывало вернулась в супружескую постель.

Она наметила культурную программу, подружилась с распространительницей билетов – бесцветной, похожей на престарелую Жанну д'Арк особой, – привела Митю в магазин-салон, где купила ему столько красок, угля, темперы и прочего цветного богатства, сколько он смог унести, и стала вновь радоваться жизни.

Отец с сыном избегали, даже оставаясь дома вдвоем, обсуждать эту тему – резкую перемену, произошедшую с матерью. Они были безмерно счастливы, хотя один и тот же вопрос зависал в воздухе, как упорно вывязываемая пауком на излюбленном месте паутина: откуда деньги? Дождев, потерявший большую часть клиентуры, которую составляло окружение жены, явно страдал из-за отсутствия денег, а спросить жену прямо, в лоб, не мог. Боялся чего-то. Он теперь каждую ночь обладал молчаливой и покорной женщиной, неутомимой и страстной, таинственной и ускользающей, и теперь, быть может, просто боялся снова ее потерять?

Он размышлял: «Любовник?» Митя говорил, что мама весь день дома, ей даже никто не звонит, а если она куда и выходит, то на рынок или в булочную, отсутствует недолго, да и полные сумки говорят сами за себя. К тому же – и Дождев знал это на собственном опыте, – когда у Лизы появлялся любовник, она не позволяла ему даже прикасаться к себе, ссылаясь на

недомогания и находя тысячи отговорок. Лизу, однако, в городе знали и рано или поздно ее увидели бы с кем-нибудь на улице и непременно доложили бы мужу. Значит, что-то другое. Но Лиза явно сорила деньгами, источник которых так и остался окутанным туманом. Лиза молчала и, казалось, даже забавлялась неведением домашних. Митя очень любил мать, но пришел к выводу, что жить с такой женщиной, как она, он бы не смог, поэтому жалел отца и поклялся себе никогда не жениться.

Однажды Лиза не пришла домой. Не было ее и на следующий день. Сергей Петрович сидел на кухне, смотрел в окно на проезжающие машины и ждал. Он ждал долго. Пока не пришло письмо. Голубое, с разноцветными марками. Из Австрии. Лиза ничего не объясняла, сообщила только, что ей захотелось на время сменить обстановку, что скоро к ним придет человек и принесет деньги. «Я скоро приеду». Но ее не было четыре года. Она регулярно писала письма, говорила, что скучает, но приехать пока не может, «так получилось». Конечно, здесь уже явно был замешан мужчина.

– Она сошла с ума, – говорил Сергей Петрович.

Деньги приносил мужчина средних лет. Митя видел этого мужчину в консерватории, а потом на концерте в филармонии, он играл на флейте. За эти годы Митя успел закончить художественное училище. Дождев пытался познакомиться с женщинами, чтобы понять, почему его, еще не старого и довольно симпатичного мужчину, бросили. Результат его встреч с женщинами был приблизительно одинаков: одно свидание, а за ним добровольный домашний арест. Митя понимал, что после свиданий отец просто избегает дам, с которыми встречался. Постоянное сравнение, очевидно, лишало его покоя: он явно искал подобие Лизы. Но Лиза такая была одна – неповторимая, невозможная, сумасшедшая, жестокая.

И все же она приехала, позвонила, назначила встречу в ресторане. Сергей Петрович почти час провозился с новым галстуком, который никак не хотел завязываться, и опоздал на пять минут. Увидел ее, сел за столик, и такая невыразимая тоска охватила его, что он обхватил голову руками и беззвучно заплакал.

– Да ну тебя, Серж, нашел время и место! – Она была в красном платье и черном жакете. От нее пахло Австрией. Что это был за запах, Дождев точно определить не мог, но было что-то в этом аромате горьковато-карамельно-ядовитое, чужое, острое, как шпильки готических соборов или четвертные паузы на моцартовских партитурах. – Мне нужен развод. – Она сказала это так, словно в этот момент ей сделали укол и она скривилась от боли. Возможно, она ожидала сцены, но ведь нужно достаточно хорошо знать своего мужа, чтобы суметь предугадать его дальнейшие действия.

– Ты выходишь замуж? – Дождев вытер слезы и запил свое горе ледяной минеральной из Лизиного, со следами розовой помады бокала.

– Да.

– За кого?

– За Глеба.

Он почему-то сразу понял, что речь идет о ее бывшем любовнике, Глебе Боброве, первой скрипке симфонического оркестра местной филармонии. Тогда при чем же здесь Австрия? Она что, все эти годы жила у Боброва на даче и там клеила иностранные марки на голубые конверты? А деньги? Откуда такие деньги? Чтобы уточнить, он все же спросил:

– Бобров?

– Да.

– А где же ты была четыре года?

Она снова поморщила нос и вздохнула, в нетерпении барабаня холеными пальцами по столешнице.

– Ну и зануда же ты, Дождев! Пойми, там я жила совершенно другой жизнью. Столько важного произошло за это время, всего не расскажешь. Ты прости меня, Сережа, но мне сейчас некогда, сейчас придет Глеб, и мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вместе.

– Но ведь ты моя жена!

– Я? – Она отпила воды и усмехнулась, словно при ней спорили непростительную чушь. – Я сама по себе, понял? Была возможность пожить по-другому. Жизнь-то у нас одна. Это же так просто!

– Ты ничего не спрашиваешь о Мите.

– Я все знаю. – Она улыбнулась наконец, как прежняя Лиза, и глаза ее заблестели. – За ним тут присматривали, пока он учился. Кстати, у него теперь есть сестренка, ее зовут Габриэль.

Дождеву показалось, что все это ему снится, и он закрыл глаза. Нет, даже во сне нельзя быть такой легкомысленной! Между тем она продолжала, невозмутимо и деловито:

– Квартира ваша, я не претендую, могу подписать любые бумаги. Даже нотариуса пришлю. Не переживай. Видно, судьба у меня такая.

Вот этого Дождев не любил. Он терпеть не мог разговоров о судьбе и всегда считал, что человек сам себе хозяин. У него, пожалуй, впервые в жизни кончилось терпение. Он схватил со стола хрустальный бокал и швырнул его. Раздался звон, возможно, стакан задел что-то хрустальное на соседнем столике, этого он уже не помнил. Последнее, что он сказал, замерев на мгновение и прислушиваясь к хрустальному звону, было:

– Фа дизь второй октавы.

Приблизительно месяц у него ушел на осознание происходящего, но теперь-то хотя бы было все ясно: Лиза ушла к Боброву. Он иногда встречал их на улице, здоровался и проходил мимо. Лиза первая стала заходить.

– Пришла вот вас навестить, моих птенчиков.

По-прежнему помогала деньгами. К тому, чем занимался Митя, относилась ровно, отмечая вслух, что у него «необыкновенное чувство цвета и хорошо получаются теплые тона». Иногда даже засиживалась допоздна, пока не звонил Бобров, и Лиза – бывали случаи, что даже с явным сожалением, – уходила, чуть не плача.

А потом появилась Марта, но Лиза продолжала приходить. «Мы же цивилизованные люди». Они втроем пили чай на кухне. Митя там не появлялся – не мог. Ему было стыдно перед отцом и Мартой. Что касается отца – здесь объяснения не нужны. А вот Марта. Ей казалось, что Митя не любит ее из-за ее хромоты. Но это было не так. Даже наоборот! Ему нравилась ее походка и этот страшный розовый шрам на пятке, который он видел в минуты близости и который так возбуждал его. Но ведь она его *мачеха*. Он не должен ее обнимать, разве что на Пасху. Обнимать и целовать. Он чувствовал, что обманывает ее, ведь она может его страсть принять за любовь, а потом, разочаровавшись, страдать и страдать бесконечно. Марта – существо тонкое, нежное и требующее внимания к себе не только как к женщине, но и как к личности. Митя это хорошо понимал. Но она была женой отца, и то, что они обкрадывали его и подло обманывали, не давало ему покоя. Но и сказать: «Марта, не приходи», – он тоже не мог. Он запутался, а поговорить об этом было не с кем. Митя ждал, что вот сейчас уже произойдет нечто такое, что сразу расставит все на свои места, но время шло, ничего не менялось, и Марта по-прежнему приходила к нему в мастерскую и в дачную спальню – туда, где был Митя.

Поэтому, увидев у калитки маму, он, как в детстве, кинулся ей навстречу. Обнял ее – она стала ниже его на целую голову – и зарылся лицом в ее мягкие светлые кудри.

– Малышка моя, я привезла тебе такие чудесные белила и кисти, что ты удивись. И еще лак необыкновенный. Я тебе позже переведу инструкцию. И еще много чего. – Она говорила быстро и много, но было ясно одно: она здесь, она *еще только* приехала и, возможно, останется здесь на ночь.

Маленькая квартирка Марты, расположенная рядом с театром в густозаселенном доме, где жили в основном артисты и музыканты, была тем тихим уголком, где можно было пережить душевные бури, все обдумать или просто отоспаться. В ней Дождевы жили все холодное время, а начиная с весны квартира пустовала: наступало дачное время. Марта сказала Дождеву, что ей необходимо срочно вернуться в театр, чтобы дошить платье, а красный бархат на отделку должны привезти в воскресенье вечером. Но, оказавшись дома, она поняла, что напрасно сбегала из Кукушкина, что от себя все равно не убежишь, и от всех нахлынувших на нее воспоминаний и чувств, связанных с Сергеем, она неожиданно для себя вдруг прониклась к нему такой нежностью, что даже всплакнула, сидя в темной комнате на кровати. С нежностью, но уже несколько другого, более изысканного привкуса, она подумала о Мите. Мальчик, похоже, совсем запутался. Понятное дело, что не кровь связывает их, но ведь нечто большее, и что станет с ними, узнай Дождев об их связи. Именно связи, поскольку любовью их вороватые встречи назвать нельзя. Митя ворует ее у отца, она тоже ворует его, Митю, у отца. Они обкрадывают славного и милого Дождева словно шутя, словно невзначай. Нет, это самообман. Она любит Митю, а он не любит ее, просто она молодая женщина, которая живет рядом с ним, посылает ему такие многозначительные взгляды и так разыгрывает случайные встречи в небольшом пространстве их дачного дома, что, не коснись она лишний раз его своим бедром или не покажись она ему как бы нечаянно нагой на веранде, кто знает, может, ничего такого и не было бы. Она вспомнила, как он поцеловал ее утром – ей показалось, что он сделал это из жалости к ее уродству, – и решительно направилась на кухню. Достала смугло-янтарную бутылку с коньяком и, отхлебнув прямо из горлышка, вздрогнула: зазвонил телефон. Кто бы это мог быть?

– Глеб, ты?

Они приехали через четверть часа: Глеб и его старинный приятель Дымов. Глеб, высокий, в роскошной желто-голубой блузе и белых широких брюках, его зычный голос был слышен еще в подъезде. Дымов – тихий очкарик в помятом костюме песочного цвета, у него обиженные, как у бассет-хаунда, глаза и добрая улыбка. Дымову необходимо было где-то переночевать, он приехал из Москвы по своим делам, а человек, пообещавший сдать ему на месяц квартиру, неожиданно женился.

– За один день? – растерянно улыбнулась растревоженная этим внезапным визитом Марта, наливая гостям коньяк и радуясь тому, что этот вечер ей не придется проводить в одиночестве.

– Да. Влюбился, и все тут. Он уж так извинялся, но что поделаешь. А в гостиницах мы жить не можем, правда, Женя?

Дымов смущенно пожал плечами и согласился кивком головы. Видно было, что московский гость утомлен и дорогой, и Бобровым, который без умолку тараторил, прерывая свою затейливую, как кружева, речь рюмками коньяка. Дымов почти не пил. Он лишь украдкой осматривал хороший кусок белого куриного мяса, на который уже давно нацеливался Бобров.

– Хорошо. Думаю, что мне удастся вам помочь, тем более что до осени квартира пустует. Что касается Мити, то я все ему объясню. А что Лиза, она не против?

Бобров шумно, со всхлипом вздохнул:

– А она не знает. Поехала в Кукушкино к Мите. Да какая разница, черт возьми! Это же сам Дымов! Ты, Марточка, еще не представляешь, что за человека я к тебе привез. Он замечательный, добрый, он друг Франсуа Планшара.

Дымов тронул его за рукав. Марта обратила внимание на покрасневшие веки Евгения Ивановича и сказала, что немедленно отвезет его на квартиру. На том и порешили. Ловко выдвинув из-под вилки Боброва блюдце с курицей, она зацепила волшебный, розовато-белый кусок и вручила его Дымову:

– Вот поешьте, а то совсем проголодались.

Бобров, сделав в воздухе вензель, прокашлялся и схватил яблоко.

– Однако. Ну, тогда поехали быстрее, а то здесь что-то душно стало.

Бобров в такси уснул, и они отвезли его домой. Когда Марта открыла дверь квартиры, в дверь ударил такой омерзительный запах, что она уже почти пожалела, что согласилась привезти сюда Дымова. Митя – добрый мальчик, всем, кто ни попросит, дает ключи от квартиры. Накурили, насвинячили! Она, зажигая по пути свет, ужасалась, в каком состоянии квартира. Но Дымову, судя по всему, было сейчас ни до чего. Марта усадила его в кресло и принялась искать в кладовке консервы. Наскоро приготовленный ужин немного оживил гостя. Пока он ел, Марта собрала в доме все пепельницы, подмела полы, убрала все постели, с отвращением выбрасывая в мусорное ведро непристойные вещицы, разбросанные где попало. Постелив свежие простыни, она показала Дымову, где можно найти чистые полотенца, отдала ему ключи и, написав фломастером крупными буквами записку, адресованную приятелям Мити, в которой говорилось, что квартира занята, уехала к себе.

После фаршированных перцев и шпрот, после чудесного крепкого чая с печеньем Дымову расхотелось спать. Он включил телевизор, послушал немного последние новости и с нескрываемым интересом стал рассматривать картины, сваленные в кучу в одной из комнат. Нервно схватившись за подбородок, он энергично расставил их на все имеющиеся в комнате возвышения и, разговаривая сам с собой, принялся изучать натюрморт с гранатами. Багрово-красные, с воспаленным зернистым нутром гранаты восхитили его. Хороши были и фиалки, нежным, по-зимнему вялым пучком лежавшие на скатерти с ярко-синим орнаментом.

– От бога, – несколько раз проговорил Дымов, осознавая, что столкнулся с настоящим художником. Ему уже не терпелось дожидаться утра, чтобы встретиться с автором работ. Из всего того, что сказали ему Марта и Глеб, он ровно ничего не понял. Ему даже в голову не пришло, что в этой квартире он будет жить один. Поэтому, удобно устроившись в постели и укрывшись двумя пледами, Дымов закрыл глаза и пожелал самому себе, чтобы эта ночь прошла как можно скорее, чтобы наутро ему встретиться с настоящим хозяином квартиры, у которого такие фиалки, такие гранаты, такой цвет.

В полночь в квартире Хорна раздался звонок. Он вырвал его из цветного прекрасного сна, где были Маша и он, орхидеи и машина, увозящая их далеко-далеко, где им будет хорошо вдвоем, это он знал наверняка. Он схватил трубку, но потом понял, что звонят в дверь. Прозрачный зрачок дверного глазка превратился в портрет молодой женщины в красном. Она изо всех сил давила на звонок.

– Это вы? – удивленно произнес Миша, впуская женщину и с трудом понимая, что происходит. Когда же до него дошло, кто стоит перед ним, а главное, в каком виде он сам, сон мгновенно улетучился, уступая место панике.

– Только не говорите, что эту ночь вы намеревались провести спокойно. Рано или поздно, но мы бы все равно догадались бы, что это ваших рук дело.

Анна присела на краешек кресла и достала из сумочки сигарету. Хорн, закутавшись в просторный черный халат, тоже с жадностью закурил. Он ровным счетом ничего не понимал.

– Что-нибудь случилось? – наконец спросил он, пряча под кресло свои большие белые ступни.

– Вы были последним, кто видел Машу.

Хорн округлившимися глазами смотрел на Анну и ничего не понимал. Разве мог он забыть, как вручил этой девочке в бело-голубом платье букет тигровых орхидей.

– Но это было в шесть часов вечера, а сейчас полночь! Вам не кажется, что прошло достаточно много времени. Что с ней?

– Ее нигде нет.

Миша похолодел. После концерта – а Маша выступала почти последней – он и сам хотел увидеть ее, пусть даже и в сопровождении Матвея, чтобы выразить все, что переполняло его, когда он слушал «Фантазию-экспромт» Шопена, но ему сказали, что ее уже увезли. А кто сказал?

– Послушайте, не валяйте дурака, ведь вы же сами мне и сказали, что Маша уже уехала!

– Я тоже так думала, потому что видела, как Матвей отъезжает от училища. Мне надо было пройтись по магазинам, поэтому я и задержалась. А когда пришла домой, оказалось, что Маши нет. И не было. Что она после выступления как скрылась за кулисами, так ее больше никто и не видел.

– А при чем же здесь я?

– Миша, – голос Анны дрогнул, словно подпрыгнула алмазная игла на пластинке с записью ее голоса, – верните нам Машу. Она же совсем еще девочка. Я знаю, что у вас сложные отношения с «Дрофой», что Руфинов отказал вам в кредите, но, поверьте, не стоило опускаться до такого.

Хорн резко встал и плотнее запахнул халат. Высокий, худой, с черной с проседью гривой и впалыми щеками, он напоминал своим видом встревоженного ворона. Красивый крупный нос, тонкий с горбинкой, маленькие красные губы и синева на бритых щеках – Анна на какой-то миг даже залюбовалась им, вспоминая что-то свое. Но это длилось недолго.

– Зачем вы пришли? – сердито спросил Хорн и стряхнул со лба седую прядь.

– Чтобы спасти вас. Вот. – Она достала черный пакет, из которого высыпались черно-белые глянцевые фотографии. На них был Хорн, припарковывавший свой «Форд» возле дверей училища; вот он подходит к дому Руфиновых, а из подъезда выходит Маша, которая не может не видеть его, она направляется к черному «Мерседесу»; Хорн в магазине, где Ольга с Машей примеряют перчатки, и тому подобные снимки.

– Что это?

Маше снилась Анна, которая душила ее. Ей было так плохо, что хотелось плакать, но не было ни слез, ни голоса, ничего, словно в нее закачали смертельную дозу новокаина, и ее всю раздуло, перекосило, и она погрузилась на дно колодца, называемого бесчувствием. Постепенно сквозь сомкнутые веки стали пробиваться розовато-малиновые блики, она попыталась открыть глаза, открыла их и поняла, что еще ночь, а она лежит в незнакомом ей месте и даже без одеяла.

– Анна Владимировна!

Она думала, что крикнула, а на самом деле едва пошевелила губами – звука не было. Когда глаза привыкли к темноте, Маша попробовала пошевелиться и ощутила внезапную боль в затылке, потом холодный комок поднялся изнутри к горлу и скользким, словно тина, содержимым ее стошнило прямо на подушку. «Я не дома». Это было первое открытие, потому что дома пахнет по-другому. «Но и не на даче. Тогда где?» И вдруг она вспомнила мелькание деревьев за окном и желтый вытертый коврик у самого лица. Кажется, Анна ей сказала, что машина ждет, что отец отпустил ее покататься с Хорном. Она села в белую машину, но ей стало почему-то плохо, так плохо, что она упала головой вниз, прямо на пол машины. Так, значит, она в квартире Хорна! Но ведь отец убьет его, если узнает!..

Маша встала и на цыпочках пошла к источнику света. Это была большая комната, настолько большая, что напоминала своими размерами ресторанный зал, где она разносила гороховый суп. Значит, это не квартира, а что-то другое. Может, офис? И тут она разглядела нечто похожее на маленький диван, на котором кто-то спал. У Маши от страха подкосились ноги, она, пятясь, вернулась на то место, откуда начала свой осмотр, и принялась искать выход. Наткнувшись на дверь, она открыла ее и оказалась на кухне. Включать свет было опасно, но сильно хотелось пить. Маша напилась прямо из-под крана, и ее снова стошнило.

Она рассуждала примерно так: если есть кухня, значит, должен быть и туалет. Нашупав на стене выключатель и увидев тонкую полоску света, она скользнула в ванную комнату, заперев за собой дверь, и с ужасом посмотрела на свое отражение в зеркале. Бело-голубое платье стало грязным, словно им мыли полы, на щеке ссадина, сильно болит локоть, он даже распух и приобрел лиловый оттенок. Вымыв по возможности все открытые части тела, сполоснув рот и побрызгавшись чужими духами – зеленоватой душистой жидкостью из большого прозрачного, похожего на гриб сморчок флакона, – она сунула руку в карман и, убедившись, что деньги, которые дал ей утром отец, на месте, вышла из ванной, выключила свет и, отыскав наконец дверь, тихо вышла из квартиры.

В подъезде было светло. Маша быстро спустилась вниз, выбежала на улицу и, глотнув свежего влажного воздуха, направилась к мигающему желтым глазом светофору.

Город спал. Она посмотрела на часы – половина третьего. Останавливать в это время машину опасно. Но, как ни странно, звонить домой не хотелось. Чувство полной свободы пьянило ее. Преодолев страх, Маша подумала, что убийцы и маньяки, уже закончив все свои кровавые дела, наверняка спят в своих берлогах и что только какой-нибудь очень несчастный человек – или, наоборот, счастливый, который, к примеру, только что узнал о рождении сына, – может сейчас колесить по городу. Подняв с асфальта половинку красного кирпича и спрятав его за спину, она подняла вытянутую руку навстречу мчащейся машине. Раздался визг тормозов. Водитель меньше всего походил на маньяка.

– Тебе куда?

– Если вы не убийца и не сексуальный маньяк, тогда на вокзал.

Мужчина средних лет в темном свитере и очках, делавших его похожим на учителя физики, пожал плечами:

– Я маньяк. У меня мания зарабатывать деньги. Не могу я без них, понимаешь?

Она села и всю дорогу держала наготове кирпич. А на вокзале, когда, сунув ему в руку деньги, побежала к перрону, она услышала вслед:

– Кирпич брось, слышь, ненормальная!

Цену деньгам она впервые в полной мере узнала на вокзале. Это были незабываемые минуты. Бродя по залу ожидания, держа уже купленный на шесть утра билет на электричку, Маша, решив, что настал *ее* час, в первом же ларьке купила джинсовые шорты, черную майку и белую кофту на черных пуговицах. В следующем ларьке за смехотворную цену купила легкие белые сандалии. Переодевшись в туалете, Маша сложила всю свою грязную одежду в новый пакет и оставила его за смывным бачком. Вышла к зеркалам и, не обращая внимания на тупо уставившуюся на нее сонную уборщицу, еще раз умылась, причесалась, подкрасила губы и, вполне довольная собой, поднялась в буфет. Там ее уже ждал жареный цыпленок, булочка, салат, пирожные с шоколадным кремом и сколько угодно пластиковых стаканчиков с горячим кофе. Все это было так вкусно, что от сытости Маша разомлела и подумала, что, вероятно, ей это снится. Теперь, даже если родители и отыщут ее, она скажет, что очнулась не в сомнительной квартире, похожей на столовую, а в Кукушкине. А там сейчас вишня, клубника и никого, никого! Она посмотрела на часики: еще только половина пятого.

Пока Лиза жарила оладьи, Митя у себя в комнате разглядывал привезенные матерью тюбики с красками. Она привезла коробку, в которой, как спеленутые младенцы, лежали туго набитые всеми оттенками зеленого краски, дорогие японские кисти, флаконы с лаком и большая коробка белил.

Потом он вышел в сад и, соблазнившись чудными запахами, свернул в летнюю кухню. Дождев-старший поливал растопленным маслом оладьи, Лиза сосредоточенно следила за поджаренными с краев островками пузырчатого желтого теста. Они о чем-то тихо говорили.

– А что его ждет потом? Ты подумай, Серж, это ведь шанс! Ой, Митя, будь другом, принеси корзинку с клубникой, папа насобирал и оставил прямо на грядке.

После обеда Митя, набросив на плечо толстый ремень этюдника, пошел к реке. Как ни странно, за весь день он ни разу не вспомнил о Марте. Приехала мама, и они все это время жили, как прежде, одной семьей. Вот только она теперь не имела права садиться к отцу на колени, как делала это раньше. Зато у нее, в отличие от отца, было две жизни: одна с Глебом, а другая – с ними, с Дождевыми. Интересно, а если бы Марта не уехала, стала бы мама возиться с оладьями, чтобы накормить ими женщину, с которой спит ее бывший муж? Наверное, если бы можно было, она жила бы с двумя мужьями сразу. Так надежнее и веселее, только готовить пришлось бы ведрами. Ведро супа, ведро тушеного мяса, таз оладий. Только куда же они дели бы Марту? Отвезли назад, в костюмерную?

Он стоял на высоком берегу, над рекой, в которой плыли словно размазанные по невидимой палитре неба белые облака, и до боли в глазах всматривался в дрожащий голубой воздух. Между тем его рука нервно, но точными и верными штрихами наносила сперва карандашом, а потом кистью черты лица, которое он не мог забыть. К вечеру на холсте проступила нежная матовость щек, тонкий нос, смелый разлет бровей и крупные, с сентябрьскую сливу, продолговатые темные глаза, и все это в обрамлении густых вьющихся рыжих волос. Фоном, переливаясь всеми оттенками изумруда, служила листва того самого дуба, под которым тогда и спрятались от дождя Митя и эта странная троица.

Взмокший, уставший, голодный, но вполне довольный своей работой, Митя, сложив краски и закрыв этюдник, собрался было уже уходить, как вдруг увидел стоящую поодаль от него женскую фигурку. Солнце уже опустилось и лохматым вишневым шаром еще источало яркое теплое сияние. Все вокруг было розовым: и вода в реке, и кусты, и фигурка на берегу. Очевидно, это была та самая девушка, о которой он мечтал весь день. У художников так часто бывает – и люди верят этому, – что портреты оживают, и прекрасные женщины, грациозно перемахнув через рамку картины, спрыгивают на грешную землю и целуют свежими теплыми губами своих творцов, они обнимают их нежными руками, говорят разные приятные слова и позволяют любить себя до утра. А утром возвращаются в свой линейный, пахнувший красками мир и продолжают смотреть оттуда всю оставшуюся жизнь.

Теперь наступила пора Дмитрия. Он подошел к девушке и обнял ее. Они лежали на теплом, еще не успевшей остыть от солнечных лучей траве и целовались до головокружения. Нежные колени ее, влажные от зеленого сока листьев одуванчика и травы, были прохладными и гладкими, как фарфор. Он пытался согреть ее своим телом, но она лишь зябко жалась к нему, выискивая на плече мягкую впадину, где, найдя ее, сморенная ласками, на несколько минут замерла. Она дышала тихо и ровно, и от этого благостного покоя, от богатых красок заката, игравшего всюду, куда ни посмотри, воспаленными бликами от молочной розовости до глубокой рубиновой сумеречности, Митя вздохнул в голос, как вздыхают, пробуждаясь от несбыточных снов, хорошо понимая это. Словно в ответ на эту непосредственность женщина легко поднялась и, прихрамывая, пошла в сторону дороги, ведущей на станцию. Митя весь покрылся испариной, холодная липкость которой в момент отрезвила его: *Марта!*

– Марта! – Он кинулся вслед за ней и схватил ее за руку.

Солнце уже зашло, и волосы, казавшиеся ему совсем недавно золотыми, холодно-русыми завитками хлестнули его по лицу. Марта смотрела на него отсутствующим взглядом. Наверное, она все поняла.

– Ну что, мальчик, наигрался с тетей?

– Нет, не говори так! Ты... ты приехала на электричке?

– Нет, на велосипеде.

Чувствовалось, что она устала, устала от всего: от Мити, от себя, от своей любви.

– Куда же ты? Пойдем домой, там отец, он обрадуется.

– Нет, не обрадуется. – Она, теребя воротник его рубашки, усмехнулась: – Там Лиза, они на веранде пьют чай. И им хорошо вдвоем.

Она вырвала свою руку и побежала по тропинке. Митя догнал ее, проводил до станции, по дороге как мог успокаивал, целовал мокрое от слез лицо, обнимал ее, дрожащую, а когда подошла электричка, помог подняться, постоял немного на перроне и... вошел вслед за ней.

Гера лежала в черном шелковом халате на постели и курила. Она слышала, как Вик плещется в ванне, как он напевает что-то, и это мешало ей сосредоточиться. И все равно мысли о том, что маленькая и глупая Машенька Руфинова сейчас спит под действием эфира, грела ее. После того как Хорн выставил ее, как ненужную вещь, за дверь, она ждала удобного случая, чтобы отомстить. Хотя это громко сказано. Гера не принадлежала к числу людей, для которых чувство мести затмевает все. Скорее всего, она ждала, когда случай сам предложит ей блюдо с корчащимся на нем Хорном. Гера была слишком ленива и непоследовательна, чтобы без усталости разрабатывать и обдумывать план мести, да и вспоминала она об этом зудящем чувстве лишь тогда, когда расставалась с очередным любовником. Но после встречи с Виком, который познакомил ее со своей сестрой, Гера нашла, что лучшего случая не придумаешь. Мстить чужими руками – что может быть удобнее. Единственное, о чем она жалела, так это о том, что не увидит выражения лица ненавистного ей Хорна, когда тот узнает об исчезновении своей пассии.

Машу увезли сразу после концерта на машине, похожей на автомобиль Хорна. Это была идея Вика. Он же с помощью платка, смоченного эфиром, усыпил Машу и отвез ее на квартиру. Остальное должна была сделать Анна. Только одного не могла понять Гера: зачем похищать дочку управляющего банком, если при этом не требовать выкупа? Какой в этом смысл? Ждать, что Руфиновы сойдут с ума от неведения? Неужели в этом и заключается вся затея? Глупо. И не такая она дура, чтобы поверить в этот бред. Пусть официально о выкупе нигде заявлено не будет, но какие-то денежки Анна с этой семьи поимеет. Но как, каким образом, Гера не знала. Когда она начинала спрашивать Вика, тот только пожимал плечами и говорил, что сестра у него со странностями и что у них с Руфиновым старые счеты. Однако Гера была не так глупа, чтобы не понять, что вряд ли они стали бы рисковать, похищая Машу, если бы дело не пахло деньгами. Они что-то скрывали. И еще: зачем они посвятили в это дело ее, Геру? Зачем она им нужна? Вот об этом она и думала, лежа на постели и пуская дым кольцами. Сейчас придет Вик, и она его хорошенько расспросит, уж она постарается быть с ним ласковой. Но когда вернулся Вик – с мокрой головой, голый, покрытый влажной темно-коричневой шерстью, – Гера поняла, что не скоро она сможет с ним поговорить. Он, гулко колотя себя в волосатую крепкую грудь и выкашливая остатки воды вместе с обрывками фраз, вновь обрушился на Геру, сорвал с нее халат, который черным глянцевым пятном распластался на ковре. Совершенно бесстыдный, самоуверенный и грубоватый Вик иногда пугал ее, предлагая совершенно непредсказуемые варианты любовных игр, которые и любовными-то трудно было назвать. Он мог до получаса давить своими локтями Гере на грудь, делая ее неподвижной и практически не давая ей дышать, почти насилуя ее. И если первое время чувственной Гере это нравилось – они с Хорном-то расстались из-за фантазий Вика, который заманил ее в мастерскую, где их уже ждал Саша, – то вскоре поняла, что так дальше продолжаться не может, что она не выдержит физически, она или задохнется, или ее разорвет на части. Синяки фиолетово-желтыми цветами уже давно украшали ее хрупкое тело. Но обо всем этом она думала, когда оставалась одна. Стоило раздаться знакомым шагам за дверью, как она, едва увидев Вика на пороге, тут же теряла твердость и позволяла раздеть себя в прихожей. Это было как болезнь. Вот и сейчас, чувствуя, что Вик готов проникнуть в нее, такой дикий, сильный и огромный, как он врывается в нее весь, словно хочет почувствовать вкус ее печени или сердца, она вдруг вся напряглась и, больно схватив его зубами за плечо, успела подумать: «Я тоже сделаю тебе больно», – и тут же получила удар по лицу, слетела с кровати и оказалась на полу. Вик наотмашь ударил ее еще

раз, перевернул на живот и, не обращая внимания на ее отчаянное «Нет!», навалился на нее и зарычал, получая свое скотское наслаждение.

Через час, когда он ушел, оставив ей на постели деньги «на пирожные», Гера заперлась в ванной, словно ее могли подслушать, и, приходя в себя в горячей воде, составила мысленно записку, которая начиналась приблизительно такими словами: «Вы получите свою дочь завтра, 15 июня, если принесете...»

– Я никому не покажу снимки, – сказала Анна, собирая и укладывая их в сумку, – если вы пообещаете мне кое-что.

Хорн сидел напротив нее и равнодушно рассматривал пуговицу на ее костюме. Он знал, что, едва она уйдет, он тотчас отправится к Руфинову и все ему расскажет, начиная с орхидей и заканчивая визитом Анны. Но пока он молчал, слушая ее голос и пытаясь понять, что этой женщине от него нужно. Когда она произнесла слово «выставка», он словно очнулся.

– Какую выставку?

– Мой брат – талантливый художник. В июле или августе будут отбираться работы местных художников на аукцион в Европу. Так вот, я бы хотела, чтобы вы приняли в этом участие, вложили в это дело деньги и сами бы имели право голоса. Понимаете, в чем дело, – Ольга не возьмет работы Вика.

Хорн едва сдержался, чтобы не расхохотаться ей в лицо.

– Руфинова? Вы говорите об Ольге Руфиновой? Помнится, она еще год назад обещала отремонтировать бывшие художественные мастерские под галерею. Я не понимаю, почему вы пришли ко мне. Машу я не похищал, хотя и следил за ней, не скрою, поэтому ваша уверенность меня, мягко говоря, удивляет.

Последнюю фразу Хорн произнес довольно вяло, почувствовав внезапную слабость. У него было слабое здоровье, и тут этот визит, какой-то пошлый шантаж, угрозы, фотографии, выставки. Он хотел уже было сказать ей, чтобы она уходила, как вдруг Анна схватила со стола пепельницу, швырнула ее в книжный шкаф с застекленными дверцами – послышался звон стекла и ее – Анны – неоправданный крик. Хорн увидел, как она пытается полоснуть осколком по своей руке, как разрывает на себе блузку и мажет окровавленной рукой по своей же щеке, шее. Через несколько мгновений Анна, вся в крови, уже звонила и кричала в трубку:

– Борис! Это я, Анна. Я у Хорна, фотографии у меня! Он пытается меня убить! Приезжай скорее, Борис!

Хорн выбил трубку у нее из рук. Наступила тишина. Анна, страшная, похожая на покойницу, стояла у груды битого стекла и курила. Лицо ее было спокойным и даже насмешливым.

– Ну, что теперь скажете, господин Хорн?

Он тяжело дышал, понимая, что если сейчас нагрянут люди Руфинова, то ему придется туго. Одного взгляда на Анну им будет достаточно, чтобы скрутить ему руки и сделать из него отбивную.

– Не знаю зачем, но вам хочется, чтобы у меня были неприятности. – Миша почувствовал себя мальчиком. Он пожалел уже – и в который раз! – что не поехал за отцом в благословенную страну, где тепло и все говорят на иврите. – У меня есть немного времени, поэтому я вынужден взять вас с собой. – Он схватил ее руку, заломил за спину и, сняв дрожащими пальцами пояс с халата, крепко связал ей руки. – Я не варвар, у вас красивый рот, поэтому кляп вставлять не буду, но на случай, если закричите, возьму кусок мыла вместо кляпа. – Он быстро оделся и вместе с Анной вышел из квартиры. Гараж находился во дворе. Не спуская глаз с женщины, он открыл гараж, втолкнул Анну в машину и уже через четверть часа мчался по ночной трассе подальше от своего дома. Страх мешал ему говорить, он только смотрел на дорогу и давил на газ.

В Кукушкине, рядом с дачей Руфиновых, жила Вера Александровна, средних лет женщина, которая присматривала за их дачей, убирала там и поливала цветы. Маша подумала, что вряд ли Вера Александровна знает о том, что произошло, а потому первое, что сделала, сойдя с электрички, – это постучала к соседке. Светловолосая, анемичного вида женщина открыла дверь.

– Я за ключами. Родители позже приедут, у них там что-то важное в городе.

Вера Александровна закивала головой и принесла ключи.

– Молоко будешь, Машенька?

Когда Маша кончила пить, то почувствовала себя аквариумом, заполненным молоком, в котором плавают молочные рыбки и растут творожные или сливочные водоросли. Только теперь они должны называться «молокоросли».

– А где тут у вас магазины?

– Один только магазин, да и то в нем ничего нет, разве что хлеб. У вас там кладовка есть, в ней найдешь консервы разные, я покупала, как Ольга наказывала, для гостей, что ли. Если хочешь, я помогу тебе. Будешь куда уходить – на пляж там или еще куда, – ключи под крыльцом оставляй, чтоб не потерять.

В доме было чисто, но очень душно. Маша распахнула окна, которые выходили в сад, чтобы с дороги не было видно, что здесь кто-то живет. Осмотрев комнаты с плетеной мебелью, лампами и напольными вазами, правда без цветов, Маша поднялась на второй этаж, где располагалась родительская спальня. Розовые обои, белая кровать, тумбочка и два кресла – скучновато, но спать, наверное, будет удобно. Решив про себя, что именно в этой розовой спальне она и проведет свою первую самостоятельную ночь, девушка спустилась, села на кушетку и, зажав пальцами нос, прогнусавила, изображая Анну:

– Это непотребное чтиво, Маша. Это пошлый поступок. Это недостойно внимания. Я вот скажу твоему отцу. – Она разжала пальцы, пошмыгала покрасневшим носом и рассмеялась. Боже, как это хорошо, оказаться здесь, в этом раю, совершенно одной!

В чулане Маша нашла синюю потрепанную джинсовую кепку, надела ее, спрятав волосы, нацепила на нос купленные уже здесь, в Кукушкине, на станции, солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе и, вполне довольная этой импровизированной маскировкой, вышла из дома.

Дачный поселок располагался на небольшой возвышенности и простирался вниз до самой деревни, куда вела желтая песчаная дорога. За поселком темнел окутанный сизой дымкой хвойный лес, постепенно переходящий в смешанный, а справа, за деревней, протекала речка, довольно узкая, с несколькими чистыми песчаными пляжами. Вот туда и направилась Маша, прихватив у Веры Александровны, к которой зашла на минутку, пакет с теплыми пирожками. Но на полдороге остановилась и с ужасом поняла, что собралась на пляж без купальника. Это открытие, однако, не остановило ее. Она, перебежав песчаную дорогу, углубилась в густые, шелково-влажные, в клочках пены ивовые заросли, прошла вниз по реке и оказалась в тихом укромном месте, в уютной, как бассейн с прозрачной водой, заводи, которая наполовину была скрыта от глаз. Там, прислушиваясь и ни на минуту не забывая, что рядом деревня и большой дачный поселок, а это означает, что желающих искупаться больше чем достаточно, разделась и, оставшись совсем без одежды, осторожно вошла в воду. Тело ее, желавшее свободы не менее, чем рассудок, взлетело над водой и скрылось в зеленоватой прозрачности. Небольшой шок, вызванный резкой переменой температуры, сменился ощущением полнейшего блаженства, когда, легко разгребая перед собой воду и словно отталкиваясь от невидимой опоры, как лягушка, Маша перевернулась на спину, полюбовалась ярко-синим с белыми пушинками облаков небом, снова перевернулась и, напившись кожей влаги, вышла на берег и завернулась в прихваченную из дома простыню. Она сидела в чудесной зеленой арке под ивами и напе-

вала мотивчик моцартовской «Волшебной флейты», пока сон сладким желанным дурманом не погрузил ее в свою радужную муть.

Только оказавшись в городе, Митя понял, что совершил нечто из ряда вон выходящее. Он сошел с ума. Марта, которая все полтора часа спала у него на плече, все поняла по его глазам.

– Ты можешь вернуться следующей же электричкой. Тебе незачем успокаивать меня.

Они стояли на перроне и оба чувствовали неловкость. Митя из жалости не предпринимал первых шагов, а Марта отлично понимала это.

– Почему ты не осталась в Кукушкине?

Он несколько раз мысленно задавал ей этот вопрос, а теперь произнес его вслух. Марта, нервно-заученным движением запуская пальцы-гребень в волосы, меланхолично проводила по голове, не зная, как объяснить Мите, что застала Дождя с Лизой на кухне, где они, очевидно вспомнив прошлое, расслабленные летней жарой и вседозволенностью, предавались таким изысканным ласкам, что Марта взволновалась совсем как тогда, в костюмерной, куда они пришли с Сергеем в первый раз и где им было так хорошо. Дождь, быть может, и не очень мужественный мужчина, он худощав, бледен, узкоплеч и мягок, но так нежен, так изысканно нежен, что только за одно это качество она не намерена отдавать его обратно Лизе. Марта нахмурила брови, что не скрылось от взгляда Мити, не знающего, куда себя деть и что ему делать дальше. Марта взяла себя в руки.

– Ты сейчас поедешь в Кукушкино. Там папа волнуется, они ищут тебя. В такой темноте, как ты понимаешь, этюды не пишут.

Она обняла его, поцеловала горячими губами в щеку и быстро пошла прочь. Митя же уселся на скамью и стал ждать электричку. Услышав шаги, он подумал, что Марта возвращается, но увидел приближающегося к нему мужчину. Поравнявшись с Митей, незнакомец попросил сигарету. Было темно, все фонари разбиты, но Митя все же узнал его.

– Вик, это ты?

Вик от неожиданности вздрогнул.

– Дождь! Ба! Ты что, в городе?

Если бы Митя не знал его, то подумал бы, что этот человек смертельно напуган.

– Что с тобой? Ты чего здесь ошиваешься? Сдал мою квартиру за пять долларов за ночь и теперь не знаешь, куда податься?

Митя хохотнул и ткнул пальцем Вика в живот, пытаясь рассмешить приятеля. Но Вику было явно не по себе.

– Ты уже был дома? – задал он самый важный для него вопрос и замер.

– Зачем, чудак-человек, мы же договаривались, что я предварительно предупрежу о своем приезде. Я же с пониманием. Успокойся, меня здесь еще месяца полтора не будет. Там, в Кукушкине, сейчас самый сезон для рисования. Мне там пишется, так-то вот!

Вик облегченно вздохнул:

– А я вот что-то не пишу. Не пишется. Помнишь, еще весной начал «Масленицу», баб румяных написал, самовары, крендели, ну и все такое, кисть сама рисовала, а потом вдруг раз, и все.

Митя хотел было пригласить его в Кукушкино, но, представив, как Вик будет таскаться за ним с этюдником по полям и лесам, испугался. В конце-то концов, существуют же разные там Снегиревки и Клещевки, где ничуть не хуже, вот пусть туда и едет. Они пожали друг другу руки, и Вик ушел. Митя же, соблазненный Виком, тоже закурил.

Стало прохладно и темно, подошел какой-то мужичонка в ватнике.

– Электричка будет только утром. Видишь, никого нет, чего стоять-то?

Мужичонка ушел, а Митя, не зная, что ему делать, вновь опустился на скамейку. К Марте нельзя, ни в коем случае нельзя. К себе – тем более. Куда? Не к Боброву же проситься на ночлег! И тогда он вспомнил о существовании такси. Были бы деньги.

К Гере он приехал в половине одиннадцатого. До замужества она позировала Мите, писала ему длинные любовные письма, дарила хорошие кисти и краски, связала свитер, носки, приносила пирожки и салаты – словом, была влюблена. Это длилось около трех месяцев. Потом Гера исчезла и заявила к нему в мастерскую уже солидной дамой, в короткой норковой шубке и беличьей шапочке, сказала, что вышла замуж и что теперь будет позировать ему бесплатно, больше того, она сможет помогать ему материально, покупая его картины. Митя, в котором Гера вызывала лишь эстетические чувства, поскольку была очень хороша собой и походила на брюлловских чернокудрых и белокожих красавиц, посадил ее тогда на высокий табурет, полюбовался несколько минут ее ярким свежим румянцем, выбившимися из-под меха блестящими завитками волос, яшмовыми – зелень в черную крапинку – глазами и округлыми коленями в туго обтянутых белых пушистых теплых чулках и сказал, что завидует ее мужу. На этом их односторонняя любовь, подчиняясь всем законам физики и геометрии, где царит равновесие, закончилась (если и была вообще). Однако Гера свое слово сдержала. Она, конечно, не позировала, Митя сам ей не предлагал, чтобы не нажить себе неприятностей от ее мужа, но картины время от времени покупала, и по приличной цене. После развода, о котором она рассказала ему в самых трагических, мрачных тонах, сопровождая рассказ слезами и полуинтимным «понимаешь?», Гера, вернувшись, несчастная и без средств, в свою квартиру, попыталась реанимировать свое прежнее чувство к Мите, но он, увлеченный в это время Мартой, так и не откликнулся на ее «зов». Единственной причиной, которая могла бы заставить его прийти к Гере, было жгучее желание вернуть свои работы, выкупить, пусть и подороже. Он знал – Гера ему рассказала, – что его картинами были увешаны стены именно ее квартиры, поскольку муж, не разбирающийся в живописи, был к ним равнодушен и считал, что ни к чему превращать дом в картинную галерею. Но Митя чувствовал, что Гера лукавит, просто она устроила себе гнездышко по своему вкусу и, быть может, именно там отдыхала душой. Как бы то ни было, но порядка тридцати работ он таким образом лишился. Поэтому он очень удивился, когда, оказавшись наконец на квартире Геры, не увидел ни одной своей картины. Первая мысль была: продала. Но кому?

– Митя?

Они некоторое время разглядывали друг друга в полутемной прихожей. Митя отметил, как потускнела красота Геры, как осунулось ее личико, глаза стали как будто глубже и темнее, а на щеках появились нездоровые впадины, как после тяжелой болезни. Он слышал, что она встречается с Виком, но неужели Вик – причина ее чрезмерной худобы и кругов вокруг глаз? (О том, что он встретил его сейчас на станции, Митя промолчал.)

– Я думал, у тебя здесь галерея, – начал он, чтобы дать себе возможность как-то привыкнуть к перемене, произошедшей с Герой, – ты что, спрятала все мои работы в кладовку, про черный день? – И тут же он понял, что неудачно пошутил.

– В кладовку про черный день, – прошептала Гера, и слезы, собиравшиеся хлынуть целым потоком обид и сожалений, застыли на ресницах лишь скудными каплями.

Она почувствовала себя предательницей, ведь картины она даром отдала Вику, который продавал их заезжим иностранцам, выдавая за свои. Иногда Вик после удачной сделки покупал Гере помаду и конфеты:

– Держи свои комиссионные.

Гера старалась не думать о том, что рано или поздно правда всплывет, как всплывают неожиданно и неотвратимо утопленники, и поэтому старалась избегать Митю. Но когда растаял снег и Дождевы уехали в Кукушкино, предоставив Вику ключи от своей квартиры, куда

тот и пригласил первый раз Геру, ей стало уже совсем не по себе. Она не могла спокойно находиться в комнате, где еще недавно так волновалась от присутствия другого мужчины. Может, отчасти поэтому она постоянно сравнивала их – Митю и Вика. С Митей у нее не было близости, но он относился к ней как-то особенно бережно, как к фарфоровой безделушке, и только любовался ею, ведя себя крайне осторожно, чтобы не обнадеежить, то есть честно. Вику же глубоко наплевать на нее, она это знала, чувствовала, но подчинялась ему рабски, отчего сама же и страдала. Спрашивая себя, почему она не расстается с Виком, Гера приходила каждый раз к одному и тому же выводу: она не может жить одна, боится. Она ничего не умеет делать, а Вик дает ей денег. После таких размышлений она давала себе слово не подходить к двери, когда раздастся условный звонок, но всякий раз, услышав его, как загипнотизированная бежала открывать.

Теперь же, когда перед ней стоял Митя, Гера от стыда покраснела. Она опустила голову, позабыв пригласить гостя в комнату.

– Мне нужны деньги, Гера. Наверное, я пришел не по адресу, да и продавать я ничего не хочу, вот если только оставить в залог один незаконченный портрет?

Гера, желая искупить свою вину, закивала головой и тут же вынесла последние пятьдесят тысяч, которые Вик оставил ей «на пирожные».

– Столько хватит?

Он объяснил, зачем ему деньги, и стал открывать этюдник. Гера замотала головой и сказала, что дает ему в долг, что вовсе не обязательно оставлять залог, но Митя вручил ей портрет, поцеловал в щеку, улыбнулся и ушел.

– Зайду через неделю, – сказал он ей на прощание.

Гера убрала картину за занавеску на подоконник и вернулась к записке. «Вы получите свою дочь завтра, 15 июня...» «Нет. – Она снова разорвала листок в мелкие клочки. – Все это глупо. Незачем мучить несчастных родителей». Она набрала номер телефона Руфиновых, но потом бросила трубку.

Хорн гнал машину, пока не кончился бензин. Они заправились на окраине города, и вновь началась бесцельная гонка по пустынным ночным улицам. Анна беспрестанно курила, ее бледное лицо до сих пор было вымазано в крови. Неглубокие царапины на руке, которые она сама себе сделала стеклом, подсохли.

Хорн остановил машину – свет фонаря осветил красный жуткий подтек на лбу Анны – и приказал ей немедленно вымыть лицо. Он развязал ей руки, достал бутылку с водой и, отдыхая, наблюдал за тем, как она оттирает кровь смоченным платком. Потом снова связал ей руки. Анна за это спокойно обозвала его дураком, сказав, что выпрыгивать из машины не собирается, и он развязал ей руки.

Хорн устал, смертельно устал, поэтому едва не сбил бросившегося под колеса юношу. Машина резко затормозила, стало тихо. Хорн увидел, как из-за капота показалась сначала взлохмаченная голова, появилось испуганное лицо с большими глазами. «Жив, слава богу». Хорн вышел из машины и извинился.

– Может, вас подвезти?

– Понимаете, мне в Кукушкино очень надо, не отвезете? – Юноша достал деньги и показал их Хорну. – Это все, что у меня есть.

Хорн кивнул головой и открыл заднюю дверцу «Форда». Наконец-то появилась цель. За то время, что они проведут в пути, возможно, что-то изменится и он найдет выход?

И снова замелькали янтарные капли светофоров, полетела навстречу серая гладкая шерсть загородной трассы, освещаемая лимонно-белым ломтиком луны. Изредка попадались на дороге рубиновые светлячки впереди идущих машин.

В Кукушкино въехали глубокой ночью. Хорн остановил машину напротив дачи Дождевых. Рядом стояла белая «Волга». «Бобров приехал», – пронеслось в сонной голове Мити. И вдруг он услышал несколько неуверенный голос Хорна:

– Слушай, парень, я с тебя ничего не возьму. Понимаешь, поздно уже, у тебя не найдется подушек и одеяла, чтобы мы здесь, в машине, и переночевали?

Сон объединяет людей, даже роднит их, сближает. Это Хорн понял, когда Митя, устроивший им постель в летней кухне на диване, ушел, а Анна стала молча мыться над умывальником. Со стороны они больше походили на молодых супругов, чем на врагов, тем более что и постель была одна на двоих. Анна, освободившись от своего кардинальского пунцового костюма, в каких-то темных кружевах, забралась в постель, забила в самый угол и затихла. Разделся и Миша, осторожно, чтобы не коснуться своей странной спутницы, залез под одеяло, укрылся и, дрожа от ночной прохлады и расстроенных нервов, закрыл глаза. Сна не было. Черные волосы на подушке напомнили ему Геру.

Он никогда не был счастлив с женщинами. Даже его любовь к Маше, из-за которой он и попал в эту неприятную историю, приобрела за эти последние часы привкус интриги, злой иронии. Это же надо так влипнуть: подарить девушке после концерта цветы, а вечером бежать из города от ее отца, словно он последний трус.

Сон все не приходил. Миша лежал, стараясь дышать почти неслышно, пока не придумал себе игру: дышать с Анной в унисон. Это было удивительное чувство. Казалось, что и она подхватила эту игру. Лежа с открытыми глазами и считая про себя сначала до ста, потом до двухсот и так далее, Анна, вымотанная дорогой, сигаретами и просто нервным напряжением, вдруг спросила:

– Миша, а ты меня не узнаешь?

Поднявшись по ступенькам на второй этаж, Митя склонился над спящим отцом.

– Я вернулся, не переживай.

Дождь, вздрогнув, чуть приподнялся на локте и тронул сына за плечо:

– Ты где был? Мы переволновались. Даже за успокоительным пришлось посылать в деревню.

Митя ответил, что «так получилось», и, устроившись на кушетке, тотчас уснул. Он не мог слышать, как Бобров за стенкой шепотом рассказывал Лизе, проснувшейся от звука шагов на лестнице, о своем приятеле, Дымове.

– Представь, Лизок, сам Дымов приехал. Помнишь, я тебе рассказывал о Планшаре, так это его друг. – (Лиза вздрогнула и сразу проснулась. «Планшар! Не может быть! Вот бы ему Митины работы показать».) – Мы с ним толком-то и поговорить не успели, у него там сложности возникли с квартирой, ну я его и отвез к Марте.

Лиза, лежа с открытыми глазами в голубовато-лунных простынях, не сводя взгляда с качающейся за окном яблоневого ветки, подсвеченной снизу фонарем на козырьке крыльца, при имени Марта зажмурила глаза, расставаясь с лунно-садовым ночным пейзажем, и резко села в постели.

– При чем здесь Марта? Что ты такое несешь, Глеб? Ты бредишь, что ли?

– Пойми, ему негде было ночевать, и я привез его к Марте, чтобы она позволила нам, то есть ему, Дымову, переночевать в вашей квартире, в Митиной. Что тут особенного?

Лиза спрыгнула с кровати и замотала головой, как от боли.

– Это с каких это пор Марта распоряжается нашей квартирой? Кто там хозяин? – Бобров, вздохнув, отвернулся к стене. Но Лизу было уже не остановить. – Нет, ты мне ответь: при чем здесь Марта? Зачем ты поехал к этой... – она сбавила тон и перешла на шепот: – К этой ненормальной женщине? Ты что, не мог оставить своего Пожарова.

– Дымова!

– Ну Дымова... у нас дома? У нас пять комнат, уж как-нибудь разместились бы, тем более что все равно скоро уезжаем.

Тут даже Бобров встал и закурил.

– Послушай, детка, да я себе даже представить не мог, что ты можешь мне такое предложить. Тебя же все мои друзья всегда раздражали.

Она замолчала, осмысливая услышанное. Не могла же она сказать ему, что ее бросает в дрожь от одного имени Планшар и тошнит от имени Марта, а тут еще Бобров притащился к ней ночью с другом.

– К приличной женщине ночью не поедут.

Она не могла не произнести эту убийственную по своей, как она считала, правдивости фразу и даже гордилась ею. Или собою. Разрядившись этой тирадой, Лиза поуспокоилась. Сон теплым коконом начал обволакивать ее. В путанице мыслей и цветных картинок, затуманенных приближающимися сновидениями, она, поглубже зарывшись в подушку, подумала, что все-таки напрасно устроила этот шум по поводу Дымова и очень даже хорошо, что он поселился не у них. Но вот почему она вдруг так быстро успокоилась, почему ее охватила эта сонная метель, уж не потому ли, что сегодня она лишний раз смогла убедиться в своей неограниченной власти над Дождевым – да, у нее «рыльце в пуху», – они, как в прежние времена, позволили себе побыть немного мужем и женой, забыв о Мартах и Бобровых, и на миг повернули время вспять. В кухне было дымно и душно от кипящего масла и пережаренных оладий, но как неистов и страстен был Сергей, как нежна и покорна была сама Лиза. Они позволили себе побыть хотя бы на время распутными и беспечными, со спокойной совестью всех обманули, отломив от пирога счастья по непомерно большому и сладкому куску, а насытившись, сделали вид, что ничего не произошло. Но кому от этого плохо? Марте? Боброву? Ничуть, они счастливы каждый по-своему, потому как живут в полном неведении. Успокоенная такими рассуждениями, Лиза, почувствовав, что Глеб вернулся в постель, обвила его рукой, прижалась к нему и, как львица, подмявшая под себя добычу, удовлетворенно заурчала, засыпая.

В квартире Руфиновых всю ночь горел свет, никто не ложился. Собрались лишь самые близкие люди. Ольга, глядя на относительно спокойного мужа, ждала разъяснений. Борис вел себя настолько неестественно и странно, что это не могло остаться незамеченным. Даже Матвей, обычно молчавший, не выдержал и спросил:

– Почему мы бездействуем?

Но Руфинов упорно молчал, что-то обдумывая про себя. Иногда лицо его искажалось какой-то патологической улыбкой, улыбкой фокусника, который, распилив тело своей партнерши, вдруг увидел под бутафорским балдахином кровь своей случайной жертвы, но, не в силах признаться себе в этом, продолжает пилить.

– Скажи, ты действительно не знаешь и не предполагаешь, где она?

В ответ на это Борис отрицательно мотал головой. Он сидел за письменным столом в своем кабинете, который сейчас напоминал военный штаб: на столе – карта города, множество переполненных пепельниц, куда беспрестанно стряхивают пепел приближенные к нему люди. Ольга, взяв себя в руки, принесла мужчинам ужин; руки ее дрожали, когда она внесла поднос, полный бутербродов с мясом. Матвей принес пиво, сигареты. В полночь Руфинов отпустил всех, кроме Матвея.

– Скажи, ты уверен, что видел, как она садилась в машину Хорна?

– Уверен, – уже в который раз отвечал телохранитель, отводя взгляд в сторону, словно боясь самому себе признаться в том, что у хозяина не все в порядке с мозгами.

– А Анна? Она села вместе с ними?

– Нет же, она подошла ко мне и сказала, что ты отпустил Машеньку с Хорном, она сказала, что я свободен, а ей надо сделать покупки.

– И ты сразу отъехал от училища?

– Нет, я протер стекло, какой-то идиот из проезжающей машины бросил на скорости стаканчик с остатками мороженого, я даже не успел толком разглядеть, кто это был, стекло было полностью залито этой белой дрянью. Вот я и вытирал.

– А ты не видел, куда направилась Анна?

– Видел, она пошла к булочной, по-моему, туда и зашла. Стой... потом я видел ее на бульваре, я как раз проезжал мимо и заметил, как она свернула к колбасному.

Руфинов удовлетворенно хмыкнул. На его лице не осталось и следа озабоченности, в глазах горел азарт.

– Ольга, разве ты просила ее покупать продукты?

Ольга, уставшая курить, но без конца раскуривавшая сигареты одну за другой, мотнула головой:

– Да нет же, этим, слава богу, занимается Виктория.

– А может, Вика-то и попросила ее купить хлеба и колбасы? Где она, давайте ее спросим!

Позвали Викторию, домработницу, женщину сорока лет, молчаливую и тихую, которая жила в маленькой комнатке возле самой кухни; она весь вечер проплакала у себя, поэтому вышла опухшая, с покрасневшим носом. Маленькие ручки покоились под полной грудью, нервно теребя передник.

– Нет, – оживилась она, – что вы! Я сама все покупаю. Анну Владимировну не посмела бы беспокоить, боже упаси.

Она ушла, Руфинов встал наконец из-за стола и взял с тарелки бутерброд.

– На квартиру Анны ездили? Ездили – там никого нет. Это понятно. Теперь необходимо съездить еще раз, чтобы проверить, где же купленные ею продукты и сколько их. Поймите, Анна не такой человек, чтобы попусту тратить время и деньги. Она слишком рациональна, слишком. Так вот. Питается она здесь, дома бывает редко. Спрашивается, зачем ей продукты?

– Борис, ты сошел с ума! У Анны своя жизнь, что мы о ней знаем? – Ольга не находила слов от возмущения.

– Ничего не знаем, и напрасно. Матвей, поезжай.

Тот вернулся через полчаса и доложил:

– Пять батонов, килограмма два ветчины, сосиски, тушенка, сгущенное молоко, пять плиток шоколада «Театральный», два шоколадных кекса, замороженный гусь, шесть банок апельсинового сока, головка эдемского сыра и много чего еще. Часть продуктов куплена сегодня, остальное – раньше, там чеки.

– Ну, что я говорил! – Руфинов потер руки и сделал несколько круговых движений, расправляя плечи.

Ольга раздавила очередную сигарету и глотнула пива.

– Ты хочешь сказать, что все это она приготовила для нашей дочери? Она знает, где Маша? Ты сошел с ума! Тебе не приходило в голову, что она просто-напросто ждет гостей, к примеру. А дома ее нет, потому что в данный момент она находится у какого-нибудь мужчины. Она красивая женщина, почему бы и нет?

– Но она не отпрашивалась у меня, эта красивая женщина, и никуда не собиралась, это ясно как день. Она исчезла в одно время с Машей. Это что, совпадение? Просто вы не знаете ее. – Он внезапно замолчал, словно боясь сказать лишнее.

– У нее есть брат, Виктор. Я знаю, где он живет, отвозил Анну не раз, – подал голос Матвей.

Ольга подняла голову.

– Виктора и я знаю. Он живет в жуткой коммуналке и пишет непристойные картины. В прошлом году я не взяла ни одной его работы на выставку – Анна до сих пор простить мне этого не может. Кроме того, она откровенно стыдится своего брата, помните, она ни разу не

пригласила его на свой день рождения. Кто-то говорил мне, что он пьет или колется и что живет сейчас – с кем бы вы думали? – с Герой, бывшей женой Хорна.

Руфинов с интересом смотрел на жену, словно впервые увидел ее за эти последние девять часов.

– Оля, а что же вы с Матвеем молчали?

– Но при чем тут Виктор? Матвей же сам видел, как Хорн увозил Машу на своем белом «Форде».

– А что, в городе больше нет белых «Фордов»? – Руфинов схватил телефон и принялся набирать номер. – Стас, мне срочно нужна твоя помощь.

Маша впервые спала в таком большом доме одна. Перед тем как устроить себе постель, она поужинала разогретой тушенкой и шпротами, которые нашла в пахнувшей мышами кладовке, напилась чаю с блинами, предложенными ей Верой Александровной, и даже попробовала покурить найденные на книжной полке тоненькие, цвета вишневых веточек, дамские сигареты. Но ей это не понравилось – слишком уж горько и дымно. Маша поднялась в спальню, собрала все подушки и одеяла, какие только нашлись, и свернувшись калачиком в этом импровизированном мягком гнезде, уснула. А утром, когда она с молоком возвращалась от соседки, ее чуть не сбила с ног белая «Волга», которая на полной скорости мчалась по желтой песчаной дороге в сторону станции. Маша чуть не уронила банку, настолько испугалась: ей показалось, что за рулем сидела Анна. Но машина скрылась за бугром, оставив за собой шлейф густой пыли. Маша осознала, что машина проехала все же *мимо* дачи, что даже не притормозила, а стало быть, это уж никак не могла быть Анна. Ведь они наверняка ее, Машу, ищут, поэтому вот так запросто проскочить Кукушкино, не заглянув на всякий случай в дом, они не смогли бы. Отругав себя за чрезмерную мнительность и успокоенная собственными рассуждениями, Маша позавтракала и отправилась осматривать Кукушкино.

С высоты холма, на котором располагался поселок, деревня казалась сплошным зелено-бирюзовым садом с розоватыми пятнами усыпанных ранней вишней и черешней деревьев, хотя сады в Кукушкине на самом деле были просторными, с редко посаженными яблонями и другими фруктовыми деревьями, под которыми, словно выросшие из черной взрыхленной земли, светлели выгоревшие скамейки и узкие столы, обтянутые блеклой клеенкой. За такими столами деревенские жители собирались за ужином, долго пили чай, пока хищные и оголодавшие комары, дождавшись своего часа, не загоняли их в дом.

Маша шла мимо того самого зеленого дома, куда в прошлый свой приезд провожала после грозы заблудившихся детей, мальчика и девочку. Молодая, похожая на упитанную свинку в красном переднике мама в благодарность за то, что Маша привела детей домой, угостила ее миской пронзительно-кислой, незрелой красной смородины, которую Маша ела, собирая ягоды с цараписто-тонких длинных веточек, чтобы потом, раздавив прохладные шарики ягод языком, испытать удовольствие от их необычного вкуса.

Сквозь выкрашенную голубой краской сетку Маша увидела «своих» детей, возящихся в оранжево-желтом песке; здесь же, выставив напоказ прохожим свой округлый, обтянутый полосатым черно-белым халатом зад, полола огурцы их мать, она была босиком, отчего ноги ее, крепкие и белые, были густо заляпаны грязью.

Маша прошла мимо дома Трушиных, у которых был телефон, и остановилась, испытывая желание позвонить родителям и сообщить, что все хорошо, что им нечего волноваться, но впереди был еще лес, не обхоженная Машей даже с одного берега река, дуб, под который ей так не терпелось попасть, чтобы еще раз увидеть поляну с белыми козами и старуху в черном плаще и проверить, настоящая она или просто чучело, кукушкинский магазин, где продаются необычные *деревенские* вещи, каких не встретишь в городских магазинах. И Маша, стараясь вовсе не глядеть на трушинские окна, прошла дальше и очень скоро свернула к мельнице, за которой

под обрывом, поросшим розовыми дикими гвоздиками и клевером, текла речка без названия. Здесь же неподалеку стоял и дуб, угрюмый, смирившийся со своим бессмертием, терпеливо сносящий больше века жгучие лучи солнца, майский град, октябрьские ветра с дождями и холодом, тяжесть пушистого нахального снега, отдыхающего всю зиму на его искривленных древесным ревматизмом ветвях. Маша вошла под темно-зеленый свод дерева, как воришка, забравшийся в чужой дом, и ей показалось, что начался дождь, будто капли упали на листья. Она подняла голову, но увидела лишь маленькую серую птицу, вспорхнувшую и перелетевшую с одной ветки на другую. И белых козочек тоже не было. И чучело старухи кто-то унес, словно фотографический, в полный рост, силуэт из рекламы радио «Ностальжи». Маша прислонилась спиной – на этот раз она нарядилась в ярко-желтый сарафан, который нашла в комод, и страшно обрадовалась ему – к шершавой поверхности дубового ствола, закрыла глаза, а когда открыла их, перед ней стоял Митя.

– Я продал вас вчера за пятьдесят тысяч.

Хорн лежал в неудобной позе и страдал от своей невыдержанности. Тела своего он не чувствовал, а вот голова, как бильярдный шар из тяжелой слоновой кости, а то и вовсе из свинца, не хотела воспринимать случившееся ночью как реальность. Правильно говорил Исаак, его отец, что главное – спать либо с женой, либо одному, так спокойнее будет. «Даже с зайчихой не ложишься, – смеялся он, намекая на генетический темперамент по мужской линии Хорнов, – все риск». Прав был отец, тысячу раз прав. Стоило Хорну остаться тогда наедине с Герой – они познакомились на свадьбе ее подруги, Гера ослепила его своей молодостью, свежестью и, как ни странно, порочностью, которая ощущалась во взгляде, движениях и даже в голосе, – как он взял ее в первый же вечер. Он оставил ее в покое уже под утро, когда от уютной постели остался лишь голый полосатый матрац, а от Геры – измученное, «полумертвое», как она выразилась, тело. Он тогда ухаживал за ней. Подняв с пола простыни и подушки, уложил Геру спать, а сам пошел на кухню готовить завтрак. Он был так счастлив тем утром, что одно лишь это воспоминание делало Геру близкой и даже родной. Больше того, он был готов даже понять ненавистного ему Дождева, которого так ни разу и не встретил и который не смог устоять против сексуальности и красоты его бывшей жены. Понятное дело, Хорн был собственником и считал это вполне нормальным свойством мужчины. Гера должна была принадлежать ему полностью. Но Гера есть Гера, она такая, как есть, и, увозя ее с чужой свадьбы, разгоряченную, хохочущую, похотливо-возбужденную и породисто-красивую, распространяющую вокруг себя аромат сильного, животного желания, он должен был еще тогда сказать себе: «Миша, это не зайчиха, это Гера, а ты ее совсем не знаешь». Он даже не знал, замужем ли она.

Здесь же, на летней кухне незнакомой ему дачи, всю ночь предаваясь любви с женщиной, которая всего несколько часов назад шантажировала его и даже собиралась отдать на съедение Руфинову, он счастливым себя не чувствовал. Ему казалось, что его обманули. Ведь вся накопленная за эти месяцы нежность и сила должны были достаться Машеньке.

Хорн боялся открыть глаза, боялся увидеть выражение лица Анны, боялся, что она заснула в одной из тех поз, которые так возбуждали его. Да, конечно, он больше всего боялся, что не сдержится. Но все же повернул голову – Анны не было. Не было ни ее одежды, ничего. Хорн нагишом подошел к окну и выглянул в сад. Сад, он и есть сад. Оделся, вышел, вдыхая запахи мокрой земли, подрагивающих от движения воздуха флоксов и лилий и понял, что Анна сбежала на чужой «Волге». Одиноким «Форд» мерз в крупных каплях росы.

Он вернулся в кухню, согрел чай. Забредшей к нему заспанной женщине, кутающейся в мужской махровый халат апельсинового цвета, Хорн сказал:

– Не бойтесь, я не вор. Я привез сюда ночью молодого человека, и он позволил мне здесь переночевать.

Лиза, чуть не лишившись чувств от страха, опустилась на постель рядом с гостем и некоторое время приходила в себя.

– Я не причесана, – наконец проговорила она, подавая признаки жизни, – не обращайтесь на меня, пожалуйста, внимания. Так, значит, это вы привезли Митю? Это замечательно. Но скажите, почему у вас такое лицо, словно вы проглотили дохлую мышь?

Хорн поднял на нее глаза и подумал, что если бы эта женщина сейчас разделась, то он поцеловал бы и ее. Наверное, это болезнь. «Этой болезнью страдали все молодые Хорны», – не без гордости говорил отец.

– Это была не дохлая мышь, а женщина. Я ночевал здесь с женщиной.

Лиза, уже окончательно придя в себя, рассмеялась и встала, чтобы налить себе и гостю чаю.

– Ну и куда же вы ее спрятали? Она что, умчалась на первой электричке к своему мужу?

Хорн встал и сказал сухо, как подсудимый, которому дали последнее слово:

– Нет, она уехала на вашей «Волге».

Лиза медленно повернулась к нему:

– Вы хотите сказать, что она уехала на бобровской машине? – и начала хохотать.

Она рухнула на постель, чуть не уронив туда же остолбеневшего Хорна, и, спрятав лицо в ладони, принялась постанывать и корчиться от смеха. Ее смех был великолепен. Он был чистым, хрустально-звонким и вполне оправданным. Но главное, он олицетворял здоровое восприятие жизни, поэтому Хорн тоже неожиданно для себя присоединился к ее смеху. Только ему казалось, что именно *его* ситуация комичнее и что когда придет некто Бобров или как его там, тот, кому принадлежит машина, то расплачиваться за этот прекрасный смех ему придется своим новеньким «Фордом».

Митя постелил на землю свою брезентовую курточку, которую прихватил на случай дождя, и предложил девушке по имени Маша присесть рядом с ним.

– Послушайте, о каких пятидесяти тысячах вы только что говорили?

– Я написал ваш портрет и продал его вчера. Вернее, отдал под залог. Но я его выкуплю. И подарю вам. Там вы тоже в желтом сарафане на фоне зеленых листьев, только сейчас у вас волосы спрятаны, а там они свободные и красивые.

Он осторожно снял с нее кепку, и тяжелые, словно застывшие солнечные лучи, волосы рассыпались по розовым, успевшим немного загореть плечам.

– А как вас зовут?

– Митя. Дмитрий Дождев.

– Мне пора, Дмитрий Дождев, ДД. Можно я вас буду звать Дэдэ?

– Конечно, можно, сколько угодно, только зовите, пожалуйста, почаще.

Маша легко поднялась, отряхнула прилипшие к ногам сухие веточки и листья.

– Ну, я пошла. Меня ждут.

Митя, чувствуя, что она сейчас уйдет, вскочил вслед за ней и, боясь прикоснуться к призраку – а иначе он Машу и не воспринимал, – попросил:

– Позовите меня прямо сейчас. Ведь вы же сами только что сказали, что будете звать меня Дэдэ. Так отчего же вам не позвать меня прямо сейчас? Поймите, вы исчезнете, и я вас не найду, позовите, я прошу вас, я пойду за вами куда угодно, мне надо напиться вами, чтобы я смог написать ваши портреты.

Маша рассмеялась, облизывая пересохшие от душного зноя губы.

– Чтобы продавать их потом за пятьдесят тысяч? Зачем вам *столько* денег?

– Мне не нужны деньги, мне нужны вы, Маша. Во мне сентиментальности, – и он выразительно дунул на ладонь, – пшик! Я пошлый, скучный, занудистый художник-ремесленник, я не умею рассказывать смешные истории и анекдоты, не умею петь и играть на гитаре или

пианино, я не умею свистеть, Маша, я ничего не умею из того, что должно тебе нравиться. Но я умею рисовать. Я рисую много и быстро. Я не хочу, чтобы ты уходила.

Неожиданно оба вздрогнули и долго стояли, не двигаясь и не веря в происходящее: ударил гром, сверкнула молния, полил дождь, которого не ждали. Они стояли под дубом, а Кукушкино тонуло в теплом сиреневом дожде.

Показались белые козочки, за которыми семенила худая рыже-белая, похожая на помесь дворняги с русской борзой собака, дождь расчесывал ее длинную шерсть, потом выплыла мрачная бабка в черном капюшоне, в руках у нее был тоненький прутик, которым она хлестала по высокой траве и что-то бормотала себе под нос. Странная компания скрылась в зарослях акации.

– А ты пил козье молоко?

– Нет.

– Говорят, полезное, сладкое и жирное.

– Если хочешь, я узнаю, где живет этот капюшон, и принесу тебе молока. Только вот не знаю куда.

– Сюда.

– Ты что, прямо здесь и живешь?

– Да. Обычно я появляюсь здесь перед дождем. Могу одна, а могу в компании маленьких ангелочков, помнишь?

– Конечно. А я подумал сначала, что это твои дети. Маша, можно, пока идет дождь, я тебя поцелую?

– А если дождь будет идти полчаса?

– Значит, полчаса и буду целовать.

Она закрыла глаза и почувствовала, как художник обнимает ее, как целует в губы ее, Машу, которую еще ни разу никто не целовал. Это было так хорошо, тем более что дождь и не думал прекращаться, он со стеклянным хрустом обрушивался на листья и ветки, звенел ими, шумел, играл, промывая каждый листик, каждого муравья, не успевшего вовремя добраться до своего муравейника; он струился по темной, крепко пахнувшей коре вниз и впитывался в мягкую, упругую землю.

Маша, оказавшись прижатой к стволу, тоже стала напиваться дождем. Она понимала, что сарафан уже вымок весь до ниточки, но позволяла художнику целовать ее до боли в губах. Быть может, вовсе и не одиночества она хотела, когда стремилась сюда, в Кукушкино, может, она хотела увидеть Дмитрия Дождя, который рисует портреты девушек и продает их за пятьдесят тысяч рублей? Тогда почему же она не призналась себе в этом раньше? Потому что она обманщица, она обманула себя, родителей, Анну и всех, чтобы поцеловаться с ним, изведать, что же такое поцелуй, а потом вернуться домой? Внутри Маши кто-то заплакал. Она представила, как возвращается к себе, садится за рояль, как раскрывает ноты, касается пальцами клавиш, а вместо них – пустота, и если посмотреть сверху, то Маша словно на вершине дуба, а внизу, где рояльные педали, стоит Дождь и зовет Машу за собой.

Он почувствовал, что она стала задыхаться, и отпустил ее.

– Мне пора, – сказала она, переводя дух, – дождь прекратился. Меня ждут.

Если бы Митя в тот момент спросил, кто ее ждет, она бы ответила: «Яблоки». Соседка угостила ее яблоками. А больше ее никто не ждал. Но и яблоки могли потерпеть. Она знала, что ей пора, что она и так позволила себе непростительные вещи и что, если об этом узнает мама или Анна, она даже и представить себе не может, что тогда будет. Но Митя не спросил.

– Слушай, пошли ко мне. У нас тут дача неподалеку. Мама привезла свежих сливок, на веранде целая корзинка клубники. Куда ты так спешишь? У тебя что, дети плачут?

Она мотнула головой: нет, не плачут.

– Я познакомлю тебя со своим отцом, у меня знаешь какой отец! Сергей Дождев, может, слыхала?

Маша ахнула: конечно, она знает Сергея Петровича, он приходил к ним настраивать рояль.

– Так ты его сын? Здорово!

Как хорошо было говорить ни о чем, о клубнике со сливками, о вечернем купании на реке, об ароматических таблетках, которые парализуют комаров на лету, о двенадцати оттенках зеленого цвета, японских кистях, о Шопене, о безнадежно влюбленном в Машу Хорне, о красивой Лизе, у нового мужа которой ночью какая-то женщина похитила машину, о мышках, которые бегают по чердаку, стучат своими упругими сухими лапками и мешают спать. Митя не мог допустить, чтобы Маша ушла.

– Где ты живешь? Покажи мне, только не обманывай, и тогда я успокоюсь, что ты мне не померещилась, что ты живая, а не призрак, рожденный дождем.

Она покачала головой: нельзя.

– Но почему, почему? Родители?

– Да. У меня страшные родители, они каннибалы, питающиеся исключительно мясом молодых, стройных и кареглазых художников.

Они вышли из-под кроны и, взявшись за руки, пошли в сторону дачного поселка. Остановившись на полпути, Маша показала рукой на свой дом, бело-розовое каменное строение с белым балконом и верандой, – как клубника со сливками.

– Вот там я живу.

Митя посмотрел на нее с недоверием.

– Так ведь это же руфиновская дача.

– Ну да.

– Так, значит, ты дочь Руфинова?

Анна на полной скорости влетела в город и, не обращая внимания на светофоры, помчалась к дождевскому дому. «Волга» остановилась возле подъезда. Анна поднялась по лестнице и трясущимися руками отперла дверь. Вошла и осмотрелась. Записку она увидела сразу. «Мальчики! Квартира сдана Дымову, просьба его не беспокоить и ключи передать по адресу». Это невозможно. Какой, к черту, Дымов, какие ключи?! Где Маша?

Анна осторожно прошла в глубь квартиры и открыла дверь большой комнаты. Кушетка, на которую она положила вчера вечером бесчувственную Машу, была пуста. Чуть дальше, на диване, кто-то спал. Кажется, мужчина.

– Вик! – с надеждой позвала она.

Но мужчина спал крепко. Анна сняла туфли и обошла всю квартиру. Маши нигде не было. В ее планы входило «освободить» Машу, внушить ей, что это она, Анна, нашла ее и что ей необходимо уехать из города. В запасе было несколько нелепых историй, но для Маши вполне сносных. Но Маши не было.

Анна прошла на кухню и налила себе коньяка, кем-то услужливо оставленного на столе. Села, выпила. Цель похищения состояла в том, чтобы, убрав Машу из города, шантажировать Руфинова до тех пор, пока он не разведется с Ольгой и не оформит документы на выезд. Хватит тянуть, она и так ждала достаточно долго. И еще Вик. С ним тоже надо было что-то решать. И как это Ольга могла так поступить с ее братом? Предположим, что картины, показанные им осенью, были неудачны. Пусть даже совсем плохи. Но чудесные натюрморты и пейзажи, которые она видела у него в апреле, это же совсем другое дело! Конечно, Ольга мстила ей, но за что? Она же ничего не знает!

Коньяк разогрел кровь и погнал ее по лабиринтам сосудов, делая щеки Анны розовыми, а глаза блестящими.

Дверь в кухню со скрипом отворилась, и Анна увидела перед собой белотелое тщедушное существо в больших, не по размеру, клетчатых домашних туфлях. Больше на нем ничего не было. Существо, увидев Анну, прикрыло руками нечто, находящееся в возбужденном состоянии и проясняющее пол, вздохнуло, но потом, забывшись, почесало одной рукой ухо.

– Милочка, а вы, собственно, кто?

– Анна. Хотите выпить? Тем более что и коньяк ваш.

– С удовольствием. Хороший город, хорошие люди, женщины сами в руки идут, как караси на щуку. Вы, стало быть, хозяйка квартиры?

Анна сделала ему бутерброд, потом небрежно махнула рукой:

– Нет, что вы. Просто у меня были ключи от этой квартиры, да и вещи кое-какие надо забрать... и вообще – я вам снюсь.

– Меня зовут Евгений Иванович. Моя фамилия Дымов. Одна русалка мне сегодня уже снилась. Только она была в отличие от вас рыжеволосая, прелестный оттенок, чистое золото. Но она быстро ушла, словно спешила куда-то. Я даже познакомиться не успел. – Голос у Дымова был мягкий, перламутрово-нежный, высокий, с чудесным неместным акцентом.

– Я знакомая хозяйки. Я скоро уйду. Там записка в прихожей, я все прекрасно понимаю.

– Нет-нет, что вы! – Дымов замахал руками. – Анна, бога ради, живите здесь, квартира огромная, какие проблемы! Я – случайный гость, это вообще странно, что я здесь оказался. Я должен был остановиться у другого человека, а он возьми и женись. Вот мой старинный приятель Бобров и познакомил меня с Мартой. Редкое имя, весеннее, пахнет талым снегом и теплым асфальтом.

– А мое имя как пахнет?

– Ваше? Глубокий, пряный запах, замешенный на ароматах розы, лимона и дубовой коры. Восхитительный запах и очень древний, как и само имя.

– Да вы поэт, Евгений Иванович.

– Нет. Я даже не художник. Я ценитель и игрок. Люблю все красивое. Я бы и вас увез, если бы вы мне позволили. Положил бы вас, закутанную в нежную соломку, в деревянный ящик, переложил ватой, чтоб не разбились в дороге, и как произведение искусства отвез вас ну, скажем, в Нант или Канны, вы как?

– Меня уже собирались увезти в Израиль, да забыли на вокзале.

– А я ничего не забываю. Ну да ладно, давайте выпьем за вас, за ваши глаза и грустные губы.

Анна даже забыла, что Дымов так и остался в одних домашних туфлях.

Евгений Дымов, работающий в паре с Франсуа Планшаром, комиссаром – или их еще называют уполномоченными – из Нанта, являющимся организатором крупных аукционов во Франции, приехал в С. с определенной целью. Его интересовал художник Виктор Дорошев, картины которого совершенно случайно обнаружил и купил во время своих последних поездок в С. сам Планшар. По его словам, художник был чрезвычайно талантлив, никому не известен, даже председателю правления Союза художников С. Абросимову, который знал всех художников своего города и мог безошибочно определить, кисти которого из них принадлежит та или иная работа. Увидев уже купленные Планшаром картины Дорошева, Абросимов, услышав фамилию художника, категорически заявил, что рука автора ему неизвестна, а Виктор Дорошев, которого он знает и сестра которого действительно работает и живет у Руфиновых, «кроме голых баб с хвостами» и декораций, ничего не пишет, что его манера письма – если так можно назвать эту «мазню» – ему известна и ничего общего с представленными работами у него нет и быть не может. Это другая рука. Возможно, сказал Абросимов, внимательно разглядывая и изучая пейзажи и натюрморты, яркость и свежесть красок которых потрясла его самого, это работы какого-нибудь студента художественного училища, которого еще никто не

знает. В тот день, когда состоялся этот разговор с Абросимовым, у Планшара оставался один час до самолета в Москву, поэтому визит к самому Дорошеву не состоялся. Отправляя в С. Дымова для отбора работ, он, не имея возможности показать ему работы Дорошева в подлиннике, дал ему сделанные с них фотографии и список потенциальных меценатов, которые, если их заинтересовать, могли бы принять участие в финансировании предварительных, обязательных в России, двух-трех выставок местного характера, а потом уже и непосредственно в аукционе в Нанте. Список открывала Ольга Руфинова, затем следовало еще несколько фамилий, в число которых входил Михаил Хорн, Глеб Бобров и сам Абросимов. В телефонном разговоре с Бобровым, которого Дымов знал еще с московского студенчества, Евгений Иванович просил Глеба подыскать ему в С. небольшую квартирку месяца на два. Глеб нашел, да хозяин неожиданно женился, таким вот образом Дымов с Бобровым оказались в тот вечер у Марты.

Решив не торопиться с поисками Дорошева, Дымов, располагающий адресами нескольких мастерских, наметил себе порядок визитов, но потом, поразмыслив, что раннее утро – не самое подходящее время для встречи с художниками, отправился к Руфиновой.

Планшар рассказал ему об этой женщине и посоветовал примерно за неделю до приезда в С. позвонить ей и предупредить о своем визите. Более того, он предложил Дымову разговор с ней повести таким образом, чтобы инициатива участия в аукционе исходила от нее. Тогда при личной встрече ее отношение к Дымову и к предстоящему делу будет принципиально иным. Кроме того, это может повлиять на цены, которые, в свою очередь, будет диктовать или советовать художникам сама Руфинова с подачи, разумеется, Дымова. Таким образом, можно будет действовать в обход Абросимова и многочисленных посредников, которые слетятся как пчелы на мед, едва им станет известно о приезде Дымова.

Поэтому, расставшись после завтрака с Анной, Евгений Иванович, не откладывая, поехал прямо на Большую Парковую.

Было раннее утро, асфальт, политый ноздрястыми жуками-машинами небесного цвета, влажно блестел в лучах утреннего солнца. Магазины были еще закрыты, и только возле молочных сгружали хрипло звенящие ящики с бутылками да возле булочных стояли машины, набитые свежим, горячим и приятно пахнущим хлебом.

Девушку в черном платье с красным шелковым шарфиком на шее он заметил еще издали. Она стояла возле подъезда, в котором жили Руфиновы, и явно кого-то ждала. Увидев Дымова, она внимательно оглядела его с головы до ног, сощурилась кошачьи в пушистых ресницах глаза, и направилась к нему.

– Вы не могли бы оказать мне небольшую услугу: передать Руфиновым вот это письмо?

Она протянула Дымову запечатанный конверт. Он хотел было что-то спросить, но девушка исчезла. Станный город, странные женщины, не живется им легко и просто, то бродят по ночам по чужим квартирам, то угощают коньяком непрошенных гостей, то заставляют принимать деятельное участие в своих авантюрах. Пораженный красотой Геры, Дымов поднялся и позвонил. Казалось, его ждали – дверь открылась сразу. Перед ним стоял огромного роста мужчина, широкоплечий, мрачный, похожий на добротный дубовый шкаф с глазами-ручками. Евгения Ивановича провели в кабинет Руфинова. Видно было, что хозяева чем-то встревожены. Несколько человек, в их числе и бледная, изможденная женщина в длинном лиловом платье, завтракали бутербродами и кофе.

– Я Дымов.

Ольга, услышав знакомую фамилию, что-то шепнула мужу на ухо и пригласила гостя позавтракать вместе с ними.

– Вы извините, у нас тут небольшие сложности. Надеюсь, что очень скоро мы сможем с вами переговорить.

Зазвонил телефон. Борис, уронив бутерброд, схватил трубку. Он слушал, кивал головой, потом, вздохнув, сказал:

– Все правильно, все машины в своих гаражах, а «Форда» Хорна нигде нет, да и самого его нет.

Ольга ахнула и замотала головой:

– Все равно не верю, не верю, чтобы это был Миша.

Дымов, вспомнив, протянул конверт:

– Девушка у подъезда просила вам передать.

Руфинов вскрыл конверт и нахмурился.

– Матвей, собирайся, едем. Кажется, Маша нашлась.

Они уехали, а Ольга все перечитывала коротенькую записку Геры, без подписи, конечно: «Ваша дочь находится по адресу...» «А что, если она там мертвая?» Она налила себе коньяка и предложила Дымову.

– Что случилось, Ольга Владимировна?

– Понимаете, это я во всем виновата. Кажется, я не заметила, как Машенька выросла. Она уехала с Хорном. Пришло время. И зря, наверное, мы всполошились, это нормально, естественно, наконец, все так и должно было случиться. Да и вообще, Хорн – это еще куда ни шло. Все-таки у него дело, он из хорошей семьи.

Дымов посмотрел на опьяневшую, совершенно выбившуюся из сил Ольгу и помог ей добраться до спальни. Уложив ее в постель и прикрыв одеялом, он подумал, что, пожалуй, впервые он приехал не вовремя. Вспомнились почему-то работы, которые так порадовали его в той квартире, где он провел ночь, и пожалел, что так и не дождался хозяина. Ольга теперь не скоро проснется, а время-то идет, надо многое успеть. Он взглянул на часы: половина девятого. Он вышел из спальни, сел в глубокое кресло в гостиной и через некоторое время уже спал.

Анна, после того как ушел странный Дымов – он, кстати, зачем-то запер ее, должно быть, затем, чтобы лишний раз не беспокоить, а она толком не успела расспросить, кто он и зачем приехал из Москвы, – долгое время сидела на кухне, соображая, что же ей теперь делать и где искать Машу, пока не услышала с улицы знакомый визг тормозов: такие звуки издавал «Мерседес» Руфинова. Она выглянула в окно и, увидев бегущих к дому Матвея с Борисом, кинулась в прихожую, оттуда на лестничную площадку и успела подняться на этаж выше, прежде чем они ворвались в квартиру. Она слышала приглушенные голоса, звавшие Машу, какой-то непонятный шум, потом все стихло. Руфинов с телохранителем вышли, и вскоре до Анны донесся звук отъезжающей машины. Как они узнали адрес? Кто им сказал, что Маша должна быть здесь? Неужели Вик? Или Гера? Не стоило, конечно, посвящать эту глупую гусыню в их план. Но, с другой стороны, Машу должен был кто-то кормить, следить за ней, а это могла сделать только Гера, и с этим пришлось согласиться. Нет, это не Гера и не Вик, этого не может быть, но кто же тогда?!

Она вернулась в квартиру, заперлась и стала думать, что же будет дальше. Дымов сказал, что видел рыжеволосую девушку, Машу, конечно, – значит, она очнулась и сбежала, но куда? А вдруг она дома? Как же Ане это раньше не пришло в голову? Ну конечно, она пришла домой и рассказала, откуда ей пришлось бежать. Поэтому Борис и приезжал сюда, он хотел посмотреть на того мужчину, которого Маша видела ночью спящим, чтобы задать ему несколько вопросов.

Значит, нужно как ни в чем не бывало приехать к Руфиновым и всем своим видом выразить сочувствие по поводу только что пережитых волнений, связанных с пропажей Маши. Они уединятся с Машей в ее спальне, и ничего не подозревающая девочка расскажет все как было. Хорн будет молчать, он вообще захочет на время уехать из города, чтобы Руфиновы забыли о нем, ведь ему и в голову не пришло, что звонка как такового не было, что Анна кричала в пустоту, что никаких претензий к Хорну у Бориса нет. Это тоже было частью плана: отвлечь внимание Руфиновых от себя на Хорна. Надо знать хорновскую породу, чтобы быть уверенной в успехе, а Анна *знала*. Она чувствовала слабость Миши, и тот факт, что он на своем белом

«Форде» постарается скрыться, сыграет свою роль. Хорн зависит от Руфиновых. Во-первых, Миша влюблен в Машу, во-вторых, Руфинов обещал ему крупный кредит. Хорн сделает все, чтобы наладить отношения с управляющим «Дрофы», и, когда настанет это время, Анна поможет ему в этом. Об этом она тоже подумала. Итак, вырисовывается следующая картина: Маша дома, все думают, что похищение организовал Хорн, и будут искать его. Если найдут, тем хуже для него, Руфинов никогда не простит его, а Хорн никогда не сумеет доказать свою непричастность к делу. Если же его не найдут хотя бы в течение недели, то она сумеет помочь ему, обеспечив алиби, и постарается все сделать для того, чтобы эта история вообще забылась. Во всяком случае, до следующего раза.

Анна допила коньяк и закурила. Она закрыла глаза и представила себе, что было бы, если бы Маша не сбежала. Они продержали бы ее на дождевой квартире дней десять. Руфинов сам бы приехал к Анне, как в старые добрые времена. Они бы выпили, Анна объяснила бы ему, как тяжело жить под одной крышей с близкими тебе людьми и делать вид, что ты им чужая. Она бы расплакалась, вспомнила бы о материнских чувствах, о своих чувствах к Руфинову, и он бы понял ее и простил, узнав, что Маша в безопасности, и, конечно, выполнил бы все ее требования. А Хорн, вернув с помощью Анны расположение Руфинова, помог бы реализоваться Вику.

Брата она, конечно, не возьмет с собой, но сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить ему будущее. Как бы ладно все устроилось! Но как же так случилось, что Маша так рано проснулась? Значит, эфира было маловато или Вик недостаточно постарался.

Покачиваясь, Анна подошла к окну. Коньяк сделал свое дело: страх и неуверенность сменились умиротворением и покоем. Даже вид белой «Волги» под окном не волновал ее: все образуется. Она еще раз обошла квартиру и, убедившись, что следов ее пребывания здесь нет, прибралась на кухне и уже через четверть часа припарковывала машину возле дома Хорна. Она рассчитала, что Хорн, оказавшись в городе в качестве заложника хозяина «Волги», первое, что предпримет, это заедет к себе домой. Причин для этого могло быть больше чем достаточно: могут понадобиться деньги или документы. Хорн скорее откупится от хозяина «Волги», чем будет обращаться в полицию. Поэтому, оставив машину, Анна со спокойной совестью взяла такси и поехала к Руфиновым. Если бы ее спросили, почему из двух машин она выбрала именно «Волгу», Анна бы не смогла ответить. Скорее всего, потому, что «Волга» оказалась ближе к дороге, а на «Форде» ей бы пришлось долго разворачиваться, а хозяева дачи могли тем временем проснуться.

Выйдя от Геры, Вик сел возле дома на скамью и сидел так до тех пор, пока не замерз. Ему было некуда идти. Маленькая комнатка в коммунальной квартире, где когда-то давно они жили вдвоем с сестрой, теперь наводила на него смертельную тоску. Анна давно не жила с ним, еще с тех самых пор, как связалась с женатым мужчиной, который снимал для нее квартиру и долгое время содержал ее. Вик хоть и злился на него, но все же понимал, что, если бы не он, Вик не смог бы закончить художественное училище, а Анна – университет.

После получения диплома, не желая работать оформителем, Вик пытался всерьез заняться живописью, но помешала природная лень. Он писал скорее забавы ради обнаженных женщин, мужчин, которым пририсовывал крылья и хвосты, а то и просто покрывал их кожу чешуей; оригинальничал, понимая, что из-под кисти выходят сплошные пошлости и непристойности, но остановиться уже не мог – продолжал работать на публику. А публика была самая разношерстная, к нему приходили поесть, выпить и погреться друзья по училищу, знакомые знакомых, которых он и не пытался запомнить в лицо, девушки, видевшие в нем чуть ли не гения авангарда или сюрреализма, зрелые женщины, уставшие от пресной семейной жизни и жаждавшие острых ощущений в объятиях молодого изощренного любовника. Вик, тратя деньги сестры, с блеском играл роль гостеприимного и несколько странноватого хозяина-шута, пытаясь привлечь к себе внимание если не живописью, то хотя бы необычностью нарядов и всего,

что окружало его дома. Он сам себе шил невообразимые одежды из шелка или холстинки, мастерил грубые сандалии из войлока, носил рыбацкую сеть, кожаные, в заплатах, куртки, даже юбки, но – надо отдать должное – ничуть не старался походить на гомосексуалиста. Комнату свою он превратил в склад непонятных вещей, которые то и дело менял местами, то драпируя камни и ящики из-под апельсинов черным штапелем, то спуская с потолка накрахмаленные квадраты марли, расписанные в стиле ампир.

Но потом случилось то, чего Вик боялся больше всего: мужчина бросил Анну. Прошло несколько месяцев, и Анна родила мертвого ребенка. Она ничего не объясняла, молчала, а когда спустя неделю Вик зашел проведать ее, соседи сообщили, что накануне в квартире был какой-то шум, после чего «Скорая» увезла Анну в больницу. Вик искал ее, но ни в одной городской больнице ее не было. Не было ее и в морге в списках умерших. Вик поехал к ней на квартиру, собрал и увез все ее вещи. Найденные в шкатулке деньги спрятал до ее возвращения, в которое верил до последнего дня.

Анна возвратилась почти через год. Пришла к Вику, обняла его и долго плакала. Где она была, он так и не узнал. Но чувствовал, что в этом деле тоже замешан мужчина. Анна некоторое время пожила у Вика, а потом снова переехала, только на этот раз уже в большую, хорошо обставленную квартиру. Ей тогда было двадцать три, а Вику – двадцать лет. Анна так и не вышла замуж, встречалась с мужчинами, но романы ее были непродолжительными. Она зарабатывала себе и Вику на жизнь частными уроками немецкого, одно время жила на содержании очень пожилого врача-дангиста, который вскоре уехал за границу. Вполне вероятно, что это и был тот самый мужчина, от которого она родила мертвого ребенка, ведь Вик его не видел. Одиночество и постоянные заботы о брате сделали ее замкнутой, молчаливой, сдержанной, но в то же время жадной до денег. И если раньше она никогда не заставляла Вика работать, то, устроившись к Руфиновым воспитательницей их дочери, Анна настояла на том, чтобы Вик нашел себе работу. Так он и стал помощником художника в драмтеатре. Мало кто из актрис не побывал в его захлавленной комнатке, которой он, однако, стыдился и поэтому брал иногда ключи от мастерской молодого художника Мити Дождева. Молоденьким девушкам, которых Вик приводил прямо с улицы, он говорил, что это *его* мастерская и что картины на стенах – тоже его творения. Так в его крепкие сети попала Гера, которая все понимала, но молчала.

Но что касается Геры, то к тому времени, когда они познакомились, над ней уже успел кто-то поработать. Она вела себя так, словно всю свою короткую жизнь была любовницей художника. Она всегда знала, что сказать по поводу новой идеи Вика, знала, как отреагировать на свежую, еще влажную акварель, пользовалась бойко и чуть ли не профессионально терминами и всегда безошибочно угадывала названия красок. Вика это умиляло. Гера была благодарным зрителем и слушателем, она прекрасно улавливала настроение мужчины и подыгрывала ему во всем, чтобы только удовлетворить его творческое самолюбие. Вик позже догадался, что Гера была знакома с Дождевым, но не знал о ее любви к нему. Знал он зато, что именно он, Вик, а не кто-либо послужил причиной развода Геры с Хорном, и в душе презирал ее за неосмотрительность и легкомыслие. Он постоянно сравнивал свою подружку со здоровымыслящей и меркантильной сестрой и выводы делал не в пользу первой. Все-таки глупо было лишиться такого мужа, как Хорн. Веди она себя поумнее, то сохранила бы и того и другого, а так – и Вик признавался себе в этом – Гера после развода стала ему менее интересна. Она, безусловно, была хороша в постели, у нее было необычайно изящное гуттаперчевое тело и нежное, чудесное, как цветок, лицо с глазами, похожими на драгоценные камни. Гере не обязательно было наряжаться в шелк и бархат, чтобы подчеркнуть свое природное богатство, в отличие от Вика она была «шедевром», «совершенством», как он ее первое время и называл. Но потом ее красота стала раздражать Вика. Ведь стоило Гере уйти от него, как комната становилась серой и тусклой, а развешанные как попало его собственные картины на стенах превращались сразу же в отвратительные пародии на натюрморты, портреты и пейзажи. А Вик, разглядывая

себя в зеркале, видел постаревшего уродца со спутанными нечесаными волосами и откровенно завистливым взглядом. В такие минуты он ненавидел себя. Поэтому при встрече с Герой ему хотелось стереть с нее все нежные и яркие краски, какими были написаны самим Создателем ее глаза и губы, кожа и блестящие, густые черно-сливовые волосы.

Он терзал Геру, пытаясь испортить нежный материал ее плоти, но когда ему и этого становилось мало, он унижал ее, заставляя принимать мучительные для нее в физическом и моральном смысле позы, доводя ее до изнеможения.

Когда Вик впервые увидел у Геры работы Дождева, он всю ночь не мог уснуть. Он вдруг ясно осознал, что его время ушло и что, пока он потешал «народ», кто-то спокойно творил, над кем-то раскрылся прозрачный купол небесной благодати, называемой вдохновением. Пока Вик торговал своим талантом, который на деле оказался простой хрупкой стекляшкой, Митя Дождев, молчаливый и несколько отрешенный от всего, растил драгоценную жемчужину своего дара, не осознавая этого. Поскольку, знай Митя, как он талантлив и плодовит – а Митя писал быстро и помногу, – он бы не выглядел таким неуверенным в себе и, уж во всяком случае, с его лица исчезло бы удивленно-восторженное выражение, которое так раздражало Вика.

Вик просил дать ему на время натюрморт Дождева «Вишни» и повесил его у себя. Анна, которая пришла в тот день навестить брата и принесла ему денег, увидев картину, встала посреди комнаты и покачала головой. «Вик, что это с тобой?» У нее не было слов. Весь вечер, пока она убиралась и готовила ужин, Вик ловил ее восхищенные взгляды.

– К Руфиновым сейчас приехали иностранцы. Один из них, француз, специалист в этом деле, он что-то вынюхивает и, по-моему, скупает картины. Если хочешь, я могу ему показать.

А через пару дней Анна явилась взволнованная и сказала с порога, что «Вишни» оценили в две тысячи франков, не согласится ли Вик продать натюрморт. Вот таким странным образом все двадцать семь небольших полотен Дождева перекочевали в Европу. Подпись «Дождев», весьма сложную и неразборчивую, Вик переправлял на «Дорошев». Несколько раз тот же Планшар, приезжавший по делам в С., звонил Анне и просил познакомить его с Виктором Дорошевым, но Анна привозила только картины, Вика же никому не показывала, боялась посредников и обмана.

Вик был вынужден рассказать об этом Гере, иначе как бы он вытянул у нее работы. А Гера-дурочка была только рада. Отсутствие ума – вот, пожалуй, единственное, что прочно удерживало Вика возле нее. Кроме того, он знал, что больше всего она боится остаться одна, и поэтому делал с ней все, что хотел. Играя на ее чувствах, он, можно сказать, ограбил ее, обманул, и теперь было самое время порвать с ней. Но в то же время какая другая женщина позволит ему так себя вести, кто будет прощать ему находящийся пока еще в зародыше садизм – следствие большого и извращенного «я»?

А тут еще Анна со своими бреднями о похищении Маши. Пусть мстит, это ее, конечно, дело, но зачем впутывать Вика, да еще привлекать к этому Геру, эту глупую куклу с куриными мозгами? Но с другой стороны, Анна просила о помощи, а это случилось впервые, и Вик не мог ей отказать. «Форд» они одолжили на час у приятеля Вика, пузырек с эфиром Анна достала у своего старого знакомого, психиатра Шубина. Анна никогда не рассказывала о нем Вика, но именно его визитную карточку он поднял с пола прихожей Анны за день до похищения. «Мой очень давнишний приятель, верный человек, не бойся», – ответила тогда она на его молчаливый вопрос, вырвала из рук визитку и сделала попытку улыбнуться.

Белый «Форд» Вик вернул даже на четверть часа раньше, чем договаривались. Саша Литвинов, хозяин машины, обещал молчать за сто долларов. Все прошло нормально, хотя и нервно, не обошлось тут и без водки: не мог Вик по-трезвому прижать пропитанный этой дрянью носовой платок к лицу Маши Руфиновой. Он и подержал-то его недолго, боясь удушить ее. Они некоторое время кружили по городу, Вик боялся, что их будут преследовать. Но Хорн, очевидно, пользовался доверием Руфинова. В условленное время, за которое Анна должна была

успеть, обеспечив себе алиби магазинными чеками, подойти к Митиному дому, «Форд» притормозил прямо у парадного подъезда. Анна, ожидавшая его за углом, помогла вынести Машу, они быстро поднялись на лифте, и Вик, не входя в квартиру, сразу же уехал к Литвинову. Все, что от него требовалось, он выполнил. Остальное было за Герой и, конечно, Анной. Гера должна была приносить Маше еду рано утром, пока та спит, и так примерно в течение недели. Зачем только это все Анне, Вик не понимал. Поэтому на вопросы Геры о предполагаемом выкупе только пожимал плечами и злился. И еще: это было так не похоже на Анну!

...Вик, продрогший, наконец поднялся со скамейки и, подгоняемый прохладным вечерним ветром, направился в сторону вокзала. Там даже в такое позднее время можно было выпить водки и закусить курицей. Кроме того, в зале ожидания было тепло, бродили какие-то люди, а Вику сейчас необходима была суета, иллюзия *неодиночества* как фон для его невеселых, лишенных всяких надежд мыслей.

Оказавшись в ярко освещенном зале, Вик почувствовал себя потерявшимся ребенком. Он искал знакомых, чтобы сказать им об этом, но никого не находил. Сонная буфетчица в теплой вязаной кофте, от которой и дом, наверное, пропах жареными курами, налила Вику полстакана водки, подала свежий огурец, разрезанный вдоль и густо посыпанный солью, рваный, с румяной кожицей и розово-белыми волокнами кусок курицы и улыбнулась ему:

– Замерз?

Как это точно она сказала! Именно замерз.

– Еще полстакана, пожалуйста, и огурец побольше.

Разомлевший Вик вышел на перрон в поисках сигареты, где и наткнулся на Митю. Ему было стыдно вспоминать эту минуту, ведь он вел себя как последний трус. Он чуть с ума не сошел от страха, потому что приезд Мити мог означать только одно: провал. Если он увидит у себя в доме бесчувственную Машу, то Руфинов... Вик даже боялся подумать, что будет с ним и с его сестрой, если случится такое. Но, услышав, что Митя и не собирается к себе на квартиру, он готов был даже расцеловать это ненавистное ему лицо с вечной блаженной улыбкой. «Пишется ему, видите ли!» От сигареты голова закружилась еще больше. Он смутно помнил, как подцепил в привокзальном сквере женщину и привез ее на такси к себе. От женщины пахло дешевыми ландышевыми духами и пирожком, который она доедала, пока ехали в машине. У женщины были смуглые колени, которые Вик, что-то жарко нашептывая ей в пьяном угаре, пытался раздвинуть. Женщина хохотала, а Вику хотелось плакать.

Глеб Бобров проснулся позже всех, сел в постели, свесив свои полные, покрытые желтыми цыплячьими волосками ноги, и зевнул, показав букету пионов крепкие мелкие здоровые зубы и розовый горизонт горла. Он не знал, что на кухне собралось общество заговорщиков, жаждущих развязки. В число их входили Сергей Дождев, Лиза, Митя и неизвестный ему черноволосый и небритый молодой человек, которые, вместо того чтобы смотреть в тарелки и нанизывать на вилки ромбики и треугольники омлета, то и дело поглядывали на окно, за которым спал хозяин угнанной «Волги». Он не знал, что вместо скорби по поводу столь неприятного события эти четверо были уже с самого утра заражены вирусом беспричинного смеха, который готов был прорваться в любую минуту. Поэтому, когда пришел Глеб, с полотенцем на шее, в белых спортивных трусах и желтых резиновых сандалиях, Лиза, первая увидевшая его, вскочила из-за стола и помчалась в сторону душевой кабины. Главный источник смеха был самоустранен. Хорн, затушив сигарету, бросил на вошедшего скрипача виноватый взгляд и втянул голову в плечи.

– Что же это вы меня не разбудили? – Глеб, бодрый, свежеумытый, пахнущий мылом и одеколоном, который нашел на подоконнике в спальне, глотнув зараженного смехом воздуха, почему-то и сам захотел рассмеяться, но какое-то предчувствие сдержало его порыв.

– А что, собственно, происходит? – весело спросил он у вернувшейся на свое место Лизы.

– Помнишь, милый, ночью мы слышали голоса? Это приехал Митя, его привез вот этот самый молодой человек, которого зовут Миша. – Глеб посмотрел на Хорна, который как раз в эту минуту вспоминал своего отца и в который уже раз жалел, что не поехал в Израиль, и отметил про себя, что этот Миша сильно напоминает ему старину Исаака, который не так уж давно нагрел его на пятьсот тысяч рублей, купив у него золотые монеты. Он промолчал и вежливо кивнул в знак благодарности за Митю. – Но так уж вышло, что он был не один, – невозмутимо продолжала Лиза, намазывая масло на булочку и выкладывая на бутерброде мозаику из свежих помидоров и редиски, – с ним была его подруга.

Глеб широко улыбнулся.

– И где же она? – игриво спросил он.

Дождь уронил вилку, Митя откинулся на спинку стула – все ждали развязки.

– Представляешь, Глеб, они поссорились, и она уехала домой.

– Какая жалость, – осторожно произнес Бобров, оглядываясь, словно у него за спиной могла появиться подруга Миши. – Занимательная история, а главное – редкая.

– Вот я и говорю: редкая. Глеб, она в темноте спутала машины и уехала на твоей «Волге», – разом выпалила Лиза и грохнула тяжелым чайником по плите.

– На моей «Волге»? Да вы смеетесь! – И Бобров кинулся к воротам.

Мгновение спустя он уже стоял в дверях кухни, на него было больно смотреть. Хорн сказал, что отдает ему вместо «Волги» свой «Форд» – на время, разумеется, – пока они не найдут его машину.

На пути в город – Хорн сидел за рулем, Бобров, волнуясь, заставлял себя рассматривать пейзаж за окном – Лиза откровенно восхищалась машиной, гладила ладошками шоколадный велюр, леденцовую матовую поверхность лампы над головой и убеждала Глеба, что «Форд» несравненно комфортнее примитивно-советско-пошлой «Волги». Хорн же курил, обгонял машины и спрашивал себя, куда он, собственно, едет. К Руфиновым? А что, если его сейчас действительно остановят на первом же пункте ГАИ?

Если можно было бы зажмуриться, он бы непременно это сделал, но они миновали пункт – все спокойно, – миновали центральный проспект, никем не преследуемые, свернули в тихий переулок напротив дома Хорна – никого, тишина. Бобров, уныло развалившись на сиденье, смотрел на припаркованную на другой стороне улицы такую же, как у него, белую «Волгу» и думал о том, что ее-то хозяин не переживает, сидит себе дома, пьет кофе, посматривает в окно и знает, что сейчас вот выйдет, откроет ключиком дверцу, сядет на родное сиденье.

– Глеб, – Лиза, ахнув, царапнула Боброва по спине, – а тебе не кажется, что вон там стоит наша «Волга»?

Хорн, увидев, как Глеб с Лизой перебегают дорогу и, радуясь, словно дети, усаживаются в свою «Волгу», облегченно вздохнул и вернулся в машину. «Не может быть!» Весело просигналив, Бобров помахал ему из окна своей машины, и их... как и не бывало! Все это произошло за несколько мгновений.

А что же делать дальше? Руфинов не оставит его в покое. Надо срочно уезжать. Миша сходил домой, взял деньги, документы, собрал кое-что из одежды и тем же маршрутом, то и дело оглядываясь, вздрагивая от любого резкого шума, покинул город. А ведь как хорошо все начиналось. Он вспомнил букет орхидей – лоснящиеся кусочки леопардовой шкуры, – который ему специально привезли из Москвы. Странно, но теперь при имени Маша ему становилось не по себе. Нет, все-таки с Герой было спокойнее и проще. Он произнес несколько раз «Гера» и понял, что соскучился по ней.

Дверь Анне открыла Виктория.

– Анна Владимировна, вы?

Анна прошла в дом, за ней почти вбежала маленькая женщина, она чуть не столкнулась с ней, когда, резко повернувшись, постучалась в спальню Руфиновых.

– Оля спит. Вы разве не знаете, что произошло?

– Нет, а что?

– Машеньку украли. – И Вика рассказала Анне все, что знала, не забыв упомянуть про записку, которую принес господин, который спит сейчас в кресле в гостиной.

– И где же эта записка? – Анна ворвалась в гостиную, но, увидев спящего Дымова, попятилась к двери. – Где Борис Львович? И почему спит Ольга? Они что, не ищут Машу?

– В том-то и дело, что вроде бы ищут. Борис Львович что-то знает, но не говорит. Они ездили по записке, но Машеньки по тому адресу не оказалось. Не знаю, что и думать, да и жива ли она. – И женщина расплакалась. Потом, немного успокоившись, рассказала, как ездила на квартиру к Анне, про продукты, чеки.

– Это я брату купила, у него сегодня гости.

– Ольга так и сказала, что, мол, у нее, то есть у вас, своя жизнь и не наше это дело.

Анна вошла к Ольге, села на край постели. Сейчас она разбудит ее и все расскажет. Бедный-бедный Хорн. Анна вспомнила, как нежно он обнимал ее. «Нет, нет и нет». Она тронула Ольгу за руку. Бледная, серая и невзрачная женщина, и что Руфинов в ней нашел? И в постели, наверное, вялая, как цветок, который долго не поливали. Нет в ней жизни, кажется, кровь в ней не бежит, а стоит, как вишневое желе.

Анна устала ненавидеть. Интересно, можно ли устать любить? Можно. Все можно. Ото всего можно устать, даже от счастья. Человеку необходимо разнообразие во всем. Для остроты ощущений даже пострадать иногда полезно. Однако все должно быть в меру.

Ольга открыла глаза и, увидев Анну, тотчас поднялась, схватилась за голову.

– Аня? Ты откуда? Ты все знаешь? Где Маша?

Но Анна уже приготовилась и теперь, как актриса, которая хорошо выучила текст, с наслаждением входила в роль.

– Мы с тобой совершили ошибку. Мы не любили Машу. Мы любили прежде всего себя, свой покой. Это эгоизм в чистом виде. А я ничего не знала... была дома, мне вчера что-то нездоровилось. А поздно вечером мне позвонил Миша.

– Хорн?

– Да, Хорн. Я чувствовала, что должно что-то случиться, но не знала, что так скоро.

– Где они? Не томи!

– Я не знаю, он сказал, чтобы вы не волновались, что с Машенькой все будет хорошо.

– И это все?

– По-моему, вполне достаточно. Главное, что она жива и здорова. Вы же сами были не против их встреч.

Анна смотрела на Ольгу, на слезы, которые делали ее такой некрасивой, и жалела, что при этой душераздирающей сцене не присутствует сам Руфинов. Ольга подняла голову, встретилась взглядом с Анной.

– Скажи, а почему ты такая спокойная? Неужели тебе не жаль Машу?

Анна покраснела и прошептала с дрожью в голосе:

– Знаешь, я тоже была в свое время влюблена. Ты себе представить не можешь, как я любила этого человека, но нам пришлось расстаться. Маша влюблена, так отчего же я должна плакать? Она счастлива, порадуйся и ты за нее! Ей уже двадцать лет, пойми наконец, что ей нужен мужчина. Ты же чуть не изуродовала свою дочь. Прав был Борис, когда настаивал.

– Хватит, – резко оборвала ее Ольга, – может, ты и права в чем-то, но согласись, что нам повезло в одном, что это именно Хорн, а не кто-то другой. Больше того, я сделаю все, чтобы Борис оставил их в покое, а ты, если он тебе еще раз позвонит, скажи ему, чтобы переговоры вел не через посредников, а звонил прямо сюда. Вот так и порешим.

Анна, не ожидавшая такого поворота и надеявшаяся на то, что Ольга возненавидит Хорна, сжала кулаки и вышла из спальни. Что ж, Маши нет, теперь она хотя бы отдохнет. Она так успокоилась, что впору было самой поверить в свою басню. А вот где на самом деле находится Маша и что будет, если она вернется прямо сейчас?

Расставшись с Машей, Митя вернулся на дачу. Отец спал, подложив ладонь под щеку. Конечно, что ему еще остается делать, ведь все его бросили. И Марта, и мама, и он, Митя. У Лизы есть Бобров, у Мити – Маша, Марта и Лиза, у Марты – Митя, а отец – совсем один. Митя постоял в дверях, рассматривая отца, как будто видел его впервые после долгой разлуки, и подумал, что отец ведь так и будет жить, ни с кем не споря и беря от жизни лишь то, что само идет в руки. Он не борец, он ничего не сделает, чтобы вернуть Лизу или Марту. Он будет тихо жить на даче, время от времени совершая поездки в город, чтобы подзаработать немного денег на самое необходимое; будет варить обед Мите и в одиночестве удить рыбу на реке, чтобы принести несколько мелких рыбешек для соседского кота Мура. А Бобров будет вечером есть сытный ужин, приготовленный ему Лизой, потом ложиться с ней в постель, и, возможно, они вместе станут смеяться над несчастным Дождевым. Неужели Митя такой же, как отец?

Отец проснулся, открыл глаза.

– Митя? Ты уже пришел? Ну как, написал что-нибудь?

Митя сел рядом.

– Нет, пап, дождь был. Такой дождь. Кстати, а ты Руфиновым настраивал?

Сергей сел, расправил плечи.

– Настраивал. Хороший инструмент, кабинетный, почти новый. А что это ты о них заговорил?

– Дачу их видел, большая, розовая.

– А чем тебе наша дача не нравится?

– Нравится, нравится. Только я сейчас с Машей Руфиновой познакомился. Она какая-то несовременная, несегодняшняя, что ли. В ней что-то такое есть, чего в других нет. Она как ребенок.

Митя так увлекся, что хотел ее даже сравнить с Мартой, но вовремя одумался и замолк. Отец, подхватив эту запретную тему, вспомнил, что Марте уже пора бы возвратиться.

– Я соскучился по ней.

Митя же почему-то хотел, чтобы Марта подольше оставалась в городе. «Я жестокий и непоследовательный человек».

День тянулся медленно. Они договорились встретиться с Машей под дубом в шесть часов вечера, чтобы сходить на дальний пляж. Митя после обеда спал, потом долго лежал в постели, разглядывая альбом Бердслея, не переставая удивляться изяществу линий на его картинах и необузданной фантазии, затем пересел за стол и попробовал порисовать тушью, но только испортил семь прекрасных белоснежных листов австрийской белой бумаги. А ведь если бы не Маша, он бы непременно добился своего и закончил свои упражнения-стилизации – во что бы то ни стало. *Маша*, какое красивое имя.

Без четверти шесть он был уже у дуба. Но Маша не пришла. Он ждал ее, пока не замерз. После целого дня безделья и ожидания два часа в обществе зеленого дуба показались ему нестерпимо долгими. Он до боли в глазах всматривался в зеленые кусты акации, за которыми змеилась узкая тропинка, ведущая прямо в поселок, нарисовал себе в воображении тоненькую фигурку в желтом сарафане и синей смешной кепочке. Он вздрагивал, закрывал глаза, представляя, что вот сейчас она подойдет и он дотронется до нее рукой, но Маши не было. Прошел еще час, солнце красным золотом наплатило небо и речку, лес и поселок.

Когда стемнело и сине-зеленое пространство вокруг стало вспыхивать уютными прямоугольниками светящихся окон, Митя, заметив, как в глубине руфиновской дачи словно посвет-

лело, бросился сквозь кусты акации напрямик, через сосняк; он остановился только возле самого забора и долго не мог отдышаться. Большое деревянное строение с высоким крыльцом, мансардой, верандой, парниками и прочими постройками выглядело нежилым. Стало тихо и темно. Митя отыскал глазами калитку, подошел к ней и без особых усилий открыл. Он ждал, что вот сейчас раздастся лай собак, а то и сработает сигнализация, но ничего подобного не произошло. Он поднялся на крыльцо и тихо постучал. И тотчас дверь приоткрылась, тонкая горячая рука схватила его и втянула в дом.

– Наконец-то, я думала, что ты не придешь.

Маша обняла его и прижалась всем телом. Она вся дрожала.

– Митя, я умираю от страха. Мне так страшно, что я весь день просидела здесь. Я даже ничего не ела, боялась, что меня кто-нибудь услышит. Я не знаю, что со мной. Не уходи, не уходи, мне так плохо.

Они сидели в темной комнате на кушетке, и Маша рассказывала ему обо всем, что произошло с ней за последние два дня.

– Понимаешь, – голос ее дрожал, да она и сама то и дело вздрагивала, словно прислушиваясь к чему-то, – я сначала обрадовалась, что оказалась одна, но потом, когда прошло время, я поняла, что меня собирались убить. Меня еще отец предупреждал, но я ему не верила, я не могла поверить, что это может произойти со мной. У отца есть враги, он же в бизнесе. Согласись, кому-то понадобилось увезти меня на квартиру, а зачем? И где же был Хорн, ведь это устроил, конечно же, он? Машина была его, я уверена в этом.

Митя обнял ее:

– Не бойся. Позвони от Трушиных и успокой родителей.

– А если и с ними что-то случилось? Что, если я ошибаюсь и Хорн спасал меня, когда увозил на квартиру? Ведь Миша – друг моего отца, отец ему очень доверяет. А если я позвоню, то всем сразу станет известно, где я. Вот почему мне и страшно.

– Тогда позвони Хорну, ты знаешь его телефон?

– Нет.

– А этой женщине, Анне?

– Не хочу. Если бы ты знал, как она мне надоела! Кроме того, она ненавидит меня, она терпит меня только потому, что папа ей платит.

Постепенно в комнате все стало синим и голубым. Желтый сарафан Маши тоже поглотил, блестящей платиной мерцали в темноте ее длинные волосы.

– Бедняжка, ты же совсем голодная! Хочешь, мы сейчас пойдем ко мне и папа нас накормит?

– Я ела яблоки и пила молоко, мне соседка приносит. Знаешь, сначала мне понравилось тут: сад, цветы, пляж, река, понимаешь? Но теперь все это почему-то не радует. Мама там сходит с ума, я еще ни разу не бывала одна, всегда под присмотром. Я не знаю, что мне делать.

– Мы можем утром поехать в город и там все узнать.

– Нет, это исключено!

– Тогда в город поеду я, позвоню твоим родителям, а если надо, то и зайду к ним. Надо же тебя, мою голубушку, успокоить.

Митя, который в обществе Марты всегда чувствовал себя немного мальчишкой, в присутствии Маши сам себе казался зрелым и опытным и думал, что имеет право успокаивать девочку, обнимать ее теплые лунные плечи, целовать мокрые щеки, гладить по блестящим гладким волосам и всячески выражать свою заботу о ней. Маша, казалось, тоже прониклась этим чувством и очень естественно и быстро доверилась Мите. Она прижалась головой к его плечу и, закрыв глаза, слушала его тихий убаюкивающий голос. Ей так хотелось верить, что завтра будет волшебный день и тогда все образуется, тогда она сможет спокойно возвратиться

домой, увидеть маму, все ей рассказать, а взамен ощутить ее бесконечную радость, что дочь благополучно вернулась.

Маша, устроившись на кушетке, приняла такую позу, что казалось, всеми своими нежными впадинками ее тело пришлось впору горячему и ровно дышавшему телу Мити, который, продолжая ласкать ее голову и маленькое шелковистое ухо, не мог не смотреть на приподнятое в плавном и неосознанном – возбуждающем изгибе бедро, едва прикрытое легкой тканью, на залитую белым светом ногу, казавшуюся прозрачной и нереальной. Руки Маши, которые он целовал, пытаясь согреть их, пахли яблоками.

– Можно я тебя поцелую?

– Нет, – сказала она и сама, как котенок, инстинктивно чувствующий упругую выпуклость на материнском животе, нашла Митины губы и в странном, притягивающем порыве прижалась к нему еще сильнее.

– Я хочу спать, – сказала Маша ему спустя какое-то время.

Дрожь в теле прошла, осталось лишь блаженство, за которым она, как оказалось, и приехала в Кукушкино. Она уже не вспоминала ни маму, ни Анну, она лежала на втором этаже дома на огромной кровати родителей и позволяла Мите мять ее сарафан, когда они, словно борясь, перекатывались с одного края постели на другой, покусывая и пощипывая друг друга; Митя, оставшись в одних белых трусах, предложил Маше раздеться, она сняла сарафан, и Митя закинул его на шелковый колпак торшера. Митины руки, в отличие от Машиных, пахли тем же, чем так вкусно и душно пахнет иногда в музеях, – печеньем и масляными красками. Он этими руками, дурачась, измерял талию Маши, ее рост, длину волос. Когда она пыталась что-то сказать, он закрывал ей рот своими губами и объяснял жестами, что она теперь его пленница и ничего уж тут не поделать. И тогда она, задыхаясь от восторга, начинала колотить упругими и горячими кулачками его по спине, плечам, ногам. В одну из таких упоительных минут Маша как бы случайно оказалась под Митей, она чувствовала, как его колено пытается устроиться у нее между бедер, она замерла и представила, как она, Маша, сейчас позволит Мите войти в себя, она и хотела этого и боялась, ей казалось невероятным такое вторжение в ее тело, которое она так хорошо знала, и не могла представить, как же это все может произойти; Митя громко, медленно и глубоко вдыхал в себя воздух и осторожно, боясь потревожить или спугнуть Машу, выдыхал; колено его продолжало жить у нее между бедрами, производя медленные ритмичные движения, которые повторялись во всем его теле и эхом отдавались где-то в глубине кровати.

– Расслабься, – прошептал Митя, нависая над ней и целуя ее висок, – ничего не будет.

– А если ничего не будет, тогда зачем расслабляться?

– Просто будет хорошо. У тебя же никогда не было мужчин?

– Я не верю, что *это* может быть приятно. Мне и так хорошо, я бы так и лежала рядом с тобой, не понимаю, зачем что-то менять и делать?

– Смотри, – он взял ее руку и положил себе пониже живота, – ты должна все знать и чувствовать. Хочешь, я выключу свет?

Маша отдернула руку, словно обожглась обо что-то, и оттолкнула от себя Митю, села на постели и замотала головой.

– Кроме того, что ты мне предлагаешь, в жизни есть еще масса приятных вещей. К примеру, спустимся, если тебе не страшно, в кладовую и давай поищем что-нибудь съедобное. Я хочу есть. А то, что лежит у тебя на животе, только пугает меня. Можешь ему так и передать. – Она завернулась в простыню и направилась к лестнице.

Маша читала соответствующую случаю литературу и приблизительно представляла, что должно было произойти, но хотела какой-то торжественности, ждала, что Митя ей скажет что-то такое. Но что? То, что он любит ее? Нельзя за столь короткий срок полюбить, и он прав, что молчит об этом. Спускаясь по лестнице, Маша улыбалась своим мыслям, Митя, притихший и расстроенный, шел за ней. Оказавшись в кладовке, в тесной комнатке с полками, на которых

мутно поблескивали банки, Митя вдруг, посадив Машу на одну из полок – было темно и пахло мышами, – размотал, задев что-то, как гигантский бинт, простыню и, не обращая внимания на внезапно обрушившиеся ему на голову удары и страшный грохот, развел в стороны Машины прохладные колени, коснулся ее влажного устья и, едва сдерживаясь, о чем-то ее спросил; он даже не помнил, что же такое он сказал, какое слово произнес, чтобы его впустили в это переполненное медом лоно, но Маша, что-то бормоча и постанывая, сначала больно царапала плечи Мити, щипала его, но потом приподнялась и, отыскав руками его голову, зарылась лицом в его густые волосы и замерла, всхлипывая.

– Ты ничего не слышишь? – спустя некоторое время подала она жалобный голос, в то время как внутри ее горячего озера продолжалось ритмичное движение, которое она не в силах была остановить и которое приносило ей чудесное наслаждение. – Дождь, начался дождь. Гром прогремел, я испугалась.

– Не бойся, подумаешь, гром. Тебе хорошо? Я люблю тебя, Маша.

– Ой, Митя, а что ты сейчас чувствуешь, кроме любви ко мне?

– Только тебя, Машенька. И еще что-то.

– Еще что-то – это варенье, которое течет сверху на тебя и на меня, по-моему, клубничное. И это пошло. Ты лишил меня девственности в кладовке с мышами и теперь страшно горд этим.

– А ты попытайся теперь, ничего не делая, поужинать. Смотри, открываешь рот, и варенье, такое сладкое и тягучее... О, блаженство.

Дымов после трех выставок и утомительных переговоров с Абросимовым и работницами Худфонда чувствовал себя просто больным. Он отобрал несколько работ, договорившись о встрече с художниками, пообедал в кафе жирными котлетами с голубовато-крахмальным пюре и вернулся к Руфиновым, поскольку утром вести разговор с Ольгой Владимировной было невозможно. Он понимал, что у них что-то случилось, но дело не терпело отлагательства, и вскоре он уже звонил в знакомую дверь. Его встретила яркая брюнетка в пурпурном костюме, которая одной только динамичной цветовой гаммой раздражала невозможно как. Он даже не успел как следует рассмотреть ее лицо, настолько быстро она исчезла в одной из комнат. Ольга приняла его в кабинете мужа. Казалось, она немного пришла в себя и успокоилась, на ее лице уже появились нежно-розовые тона. Дымов вкратце обрисовал ей ситуацию на выставках и аукционах, рассказал в подробностях о своей встрече с Абросимовым.

– Я так приблизительно и представляла. Он, наверное, сказал вам, в каком состоянии находятся мастерские. Если честно, я последнее время занималась пенсионерами и инвалидами, поэтому бригаду строителей, которую собиралась нанять, перехватили другие. А я не доверяю людям и стараюсь всегда работать с постоянными кадрами. Сейчас они реставрируют старинный табачный магазин, расписывают под хохлому. А у меня к галерее, в сущности, мало требований: белые стены, в меру лепки по потолку, непременно паркет, а дальше уже работа дизайнеров. Понимаете, мне бы хотелось прежде, чем картины уйдут – или не уйдут, – чтобы город посмотрел на них, запомнил, что ли. Я не большой знаток живописи, но те фамилии, которые вы мне сейчас назвали, удивительным образом совпадают и с моим предполагаемым списком, взгляните. – И Ольга протянула ему список.

Дымов оценил ее эстетическое чувство и вкус, но внешне это никак не проявилось на его озабоченном лице.

– Вы не сказали мне ничего о... Дорошове.

– А кто это? Я не знаю никакого Дорошева.

– Ну как же, Виктор Дорошев, мне даже дали ваш телефон и сказали, что именно здесь живет его сестра, которая...

– А, Анна, ну конечно, это та самая женщина в красном, которая открыла вам дверь. Виктор Дорошев – ее брат, он дипломированный художник, но, между нами говоря, – Ольга перешла на шепот, – он не художник, он... он пишет с претензией на авангард, но, поверьте, это мерзость что такое!

– Но в Москве о нем говорят совершенно противоположное. Я, признаться, не встречал его работ, но мне рассказывал о нем небезызвестный вам Франсуа Планшар, у него около тридцати его работ, Планшар не такой человек, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Неужели вы просмотрели Дорошева?

Ольга, задумавшись, мысленно перенеслась в комнатку Вика, куда в апреле ее последний раз привозила Анна. Действительно, несколько пейзажей были хороши, хоть и воспринимались скорее как случайность, тем более что они ну совсем уж выпадали из стиля Вика, ведь его полногрудые розовотелые бабы с пауками на детородных органах и непонятные существа, совокупляющиеся с похотливо улыбающимися кроликами и котами, никак не вязались с тихими речными заводами, написанными в традиционной манере, и уж тем более с теми портретами изящной работы, на которых прикрывали свою нежную наготу юные натурщицы. Она хотела все это объяснить Дымову, но, подумав, решила, что уж лучше отвезти его к Вику да и посмотреть вместе с ним на его последние работы. Может, действительно в мире что-то изменилось настолько, что произошел сильный крен со стороны абсурда и «мнимой» пошлости, кто знает.

Ольга, оставив Дымова перед чашкой остывшего кофе, вышла к Анне и попросила ее организовать эту встречу.

– Но я не могу, – Анна тут же принялась шарить в кармане в поисках сигареты, – он не разрешил мне.

– Слушай, неужели это правда, что у Вика покупал работы сам Планшар? И ты молчала? Ты, которая знала, что я готовлю выставку, ты, которая видела, с каким трудом мне удалось выманить из Москвы Дымова, молчала? Да его, оказывается, только твоим братцем можно было вызвать еще полгода назад. Аня, неужели Вик так изменился?

Анна не знала, что ответить.

– Понимаешь, Вик – непрактичный человек, его могли бы обмануть.

– Да я не об этом! – Ольга уже была не в силах сдерживать себя и едва не накричала на Анну. – Неужели ты не понимаешь, *что* я имею в виду? Кто же так на него повлиял, что он переменял манеру письма? Ведь он сроду не писал пейзажей, он из города-то ни разу не выезжал, и ты прекрасно это знаешь. Ничего не понимаю.

– Я тоже не понимаю твоего раздражения, что плохого в том, что он пошел в гору? Радоваться нужно! Я и сама удивилась, когда ты весной не взяла ни одной его работы.

– Это вполне объяснимо, мой голос все равно не был решающим, я решила, что это случайность и... – Ольга не сказала, что вполне допускала мысль, что работы принадлежат вовсе не Вику. Она посмотрела на Анну, и ей показалось, что та прочла ее мысли.

– Не надо думать плохо о моем брате. В сущности, он несчастный человек, и кто знает, что ждет нас в будущем. Я, например, всегда считала его неудачником, жалела его, кормила, одевала, но потом, видишь, он стал неплохим декоратором. Возможно, театр оказал на него такое влияние. Я не знаю. Поэтому не могу обещать, что устрою встречу твоего Дымова с Виком. Мне прежде надо увидеться с ним и поговорить. Обещаю, что сделаю это сегодня же.

– Сейчас. – Ольга сбавила тон и умоляюще посмотрела на Анну. – Ты не смотри, что Дымов на вид такой невзрачный и, скажем, невпечатляющий, он – известный человек, страстный коллекционер, он работает в паре с Планшаром, уполномоченным нантских аукционов, таких людей еще называют комиссарами. У него огромные связи! Дымова ждут, на него надеются, а ты прячешь от него Вика! Я не понимаю.

Она вернулась к Дымову.

– Оставьте мне адрес, где вы остановились, и телефон, хорошо? Я вам позвоню сегодня же вечером. Обещать, сами понимаете, ничего не могу, поскольку это не мой брат, хотя... – Она вдруг решила про себя, что, если Анна ответит отказом, она сама отвезет Дымова к Вику. В конце концов, это просто глупо!

Анна, вернувшись в Машину комнату, не находила себе места и вздрагивала от любого звонка, но потом вспомнила голого Дымова в квартире Дождева: его непосредственность, как он разговаривал с ней и пил коньяк, совершенно не заботясь о том, какое впечатление производит на нее, – и подумала, что он действительно не от мира сего, что нормальные мужчины так не поступают. Решив, что ей все же действительно лучше не откладывать свой визит к Вику, она в последний раз взглянула на заправленную Машину кровать, на великое множество разноцветных пушистых зверюшек, расставленных повсюду, на кукол, книги, ноты, аккуратно разложенные на полках, и смутное чувство, очень напоминающее материнское, больно обожгло ее сердце. Она глубоко вздохнула и вышла из комнаты.

Марта позвонила в дверь и напряглась, волнуясь. Она должна была прийти сюда намного раньше, но почему-то не сделала этого. За дверью послышались шаги. Увидев на пороге Ядова, она вдруг вспомнила все: и жуткую белизну палаты, и страшную боль в ноге, и даже услышала собственный крик.

Ядов налил ей чаю и предложил миндального ликеру:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.